

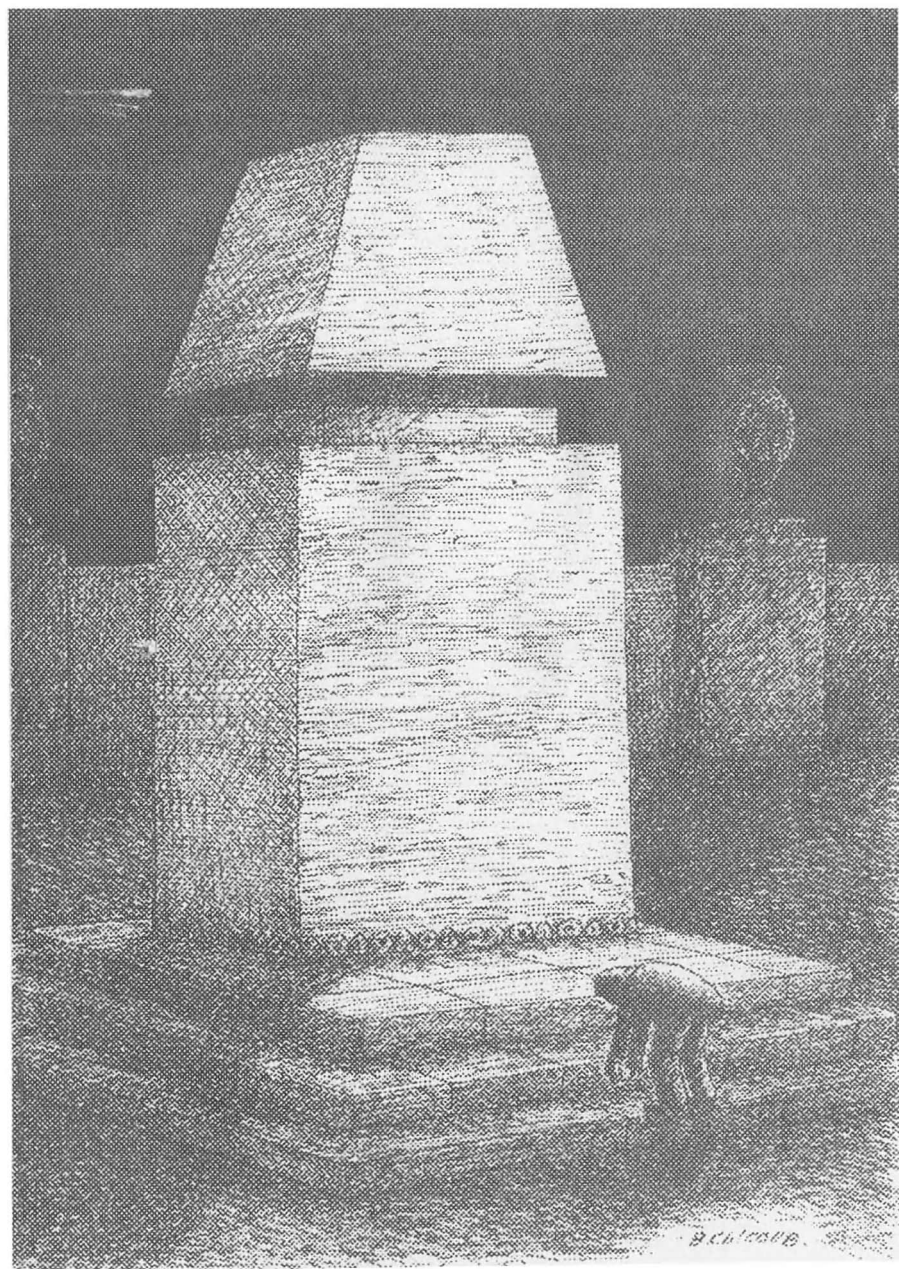
ОСТРОВ

Литературно-художественный альманах

№2



Берлин 1994



Рисунк Вячеслава Сысоева, 1978

Остров 2



**Независимый
публицистический
и литературно-
художественный
альманах.**

Содержание

Леонид Гиршович. Бременские музыканты. <i>Отрывок из романа.</i>	3
Олег Юрьев. Траур по китайской императрице. <i>Эссе.</i>	29
Андрей Анпилов. Улыбка. <i>Стихи.</i>	33
Леонид Межибовский. Окончание спектакля. <i>Рассказ.</i>	37
Эрика Крюгер. <i>Рассказ.</i>	
Дмитрий Пригов. Съезд народов Терской губернии. <i>Стенограмма.</i>	49
Сун Комарова. Пятый олень. <i>Маленькая повесть.</i>	55
Светлана Васильева. Вечная Жена Чекиста. <i>Рассказ.</i>	77
Эдуард Русаков. Неизвестный художник. <i>Рассказ.</i>	83
Полковник Зверев. <i>Рассказ.</i>	85
Вернисаж «Острова»: Марина Романовская.	88
Кира Сапгир. Ткань жизни. <i>Главы из романа.</i>	95
Владимир Филь. Случай. <i>Рассказ.</i>	103
Гарри Осипов. Пир нищих. <i>Стихи.</i>	112
Юрий Теплов. И отвернется вам. <i>Рассказ.</i>	114
«Кардан ей в радиатор!..» <i>Рассказ.</i>	125
Лена Кешман. Письма из Иерусалима	131
20 лет бульдозерной выставке.	137
Анатолий Приставкин. О смертной казни.	144

Издание осуществлено при участии немецко-русской книготорговой фирмы «ГЕЛИКОН»

© «Остров», 1994



Леонид Гиршович

Бременские музыканты

Отрывок из романа

Я все постигал опытным путем... Тоже, конечно, не совсем верно — я много рассуждал. И рассуждения мои вовсе не прикованы к *ядру моего личного опыта*. Это к тому, что человек не раб своей субстанции (и — образуя силлогизм: «А Такойтович — человек»). Мне поэтому куда интересней, не *что* считает тот и *что* считает этот, а *почему* они это считают. Ну, почему армянин думает про армян так и про азербайджанцев сяк, а азербайджанец наоборот — понятно. (Непонятно, кстати, почему не все сто-процентно евреи едины в своем мнении о палестинцах — я знаю, слышал, что есть другой Израиль, и это слегка обнадеживает — *в той мере*, чтобы быть спокойным за себя: при всей нашей предрасположенности к фашизму, еврейство, порой, подает примеры великолепного самодистанцирования.) А вот почему, скажите на милость, Хайко Клоц — пацифист, отпустил длинные волосы и в своей *натовской* куртке демонстрирует в поддержку сандвинстов, тогда как Ешка Фишер стрижет свой газон, носит лоден-мантиль и по вечерам режется в пивной в «скат»? Ведь с медицинской точки зрения они одинаково цапленого, близоруки, поедают много салата, спят со своими женами и т.д. и т.п. Мне не интересно, *что* считал Карл Маркс, но *почему* он так считал? И почему именно он?

Не верю, что мой взгляд на вещи был обусловлен тем, по каким местам меня в жизни било. Напротив, уж если на то пошло, сознание определяет *бите*. Никакая «дрянь» мне никаких «глупостей» не внушала, вопреки заявленному моей будущей женой тогда в Эрмитаже. Да, правда, после истории с Наташей и гибели «Атлантиды» я стал писать «Фашизм и наоборот». Но я и так и так бы стал это делать. Повторяю, уж если на то пошло, здесь обратная зависимость: ничем другим у меня с Наташей кон-

читься не могло в силу устройства моих мозгов — то есть по причине моей *веры*, изложение которой практически и содержит «Фашизм». Здесь уместно вспомнить диалог: «Во что вы верите?» «Лично я ни во что, но у меня есть пожелания». Вера формируется у каждого в соответствии с его пожеланиями («Хочу, чтоб так было»). Но что лежит в основе наших пожеланий — это уже, вероятно, по части генной инженерии, а не инженерии человеческих душ. Моя точка зрения, моя позиция, во всяком случае, отражает исключительно ситуацию с моими генами. Я не собирался хватать за рога объективную реальность, хотя и надеюсь, что безумием моим двигал здравый смысл, а мой эгоцентризм, как и всякий подлинный эгоцентризм, был лишь средством отделиться от себя самого, средством самодистанцирования — что парадоксально только на первый взгляд: самодистанцирование ради самопознания — это нормально. Это фашизм не способен ни взглянуть на себя извне, ни попытаться познать себя изнутри. Эгоцентризм оправдан уже тем, что в крайней форме своего проявления — «остранении», он-то и говорит фашизму: *но пасаран*.

Я знаю три понятия, смысл которых, при всей его очевидности, буквально выскальзывает из пальцев, когда берешься его определить. Это *ум*. (В чем критерий? В поступках? В суждениях? В знаниях? В какой-то своей области последний дурак — профессор, с другой стороны, «дурак-профессор» — повсеместное явление.) Это нелюбимое почему-то Фунтиком слово *пошлость* («сам пошляк», «кто как обзывается, так сам и называется»). И это *фашизм* — не в историческом, а в экзистенциальном плане.

Книга начинается с моего определения фашизма, весьма обескураживающего, покуда из дальнейшего не становится ясна картина мира «по Такомутовичу» — сейчас, задним числом, она кажется эклектической, но четверть века назад я даже имен таких не слышал, как Федоров, Бердяев, и считал, что открыл Америку. «Фашизм — это почитание совокупляющихся мужчины и женщины как абсолютной святыни, при том, что их акт есть наш акт и они сливаются с нашим Я» — так начиналось. А дальше я объяснял, почему так, что одновременно и было ответом на сакраментальное *како веруеши?*

«Кто хочет — тот может, кто может — тот должен». Эта формула несвободы, предопределенности всего маршрута мне, еще подростку, читавшему «Подростка», попала в какой-то статье в «Брокгаузе». И я подумал: «А ведь правда». Причем, порабощение, тут же, свободного «может» — которое подменяется рабским «должен» — воспринималось как неизбежность: природа не терпит пустоты, любая возможность обречена на реализацию. Что до первого звена, светлого — «кто хочет, тот может» — это, во-первых, слышит изо дня в день каждый Витя Малеев в школе и дома, во-вторых, о том же неопровержимо и захватывающе свидетельствует превращение каменного топора в космическую ракету. Боявшегося ада и смерти (в дошкольном возрасте), меня это сильно утешало. Я мечтал,

что к *тому времени* научатся делать «операции на сердце»: виделся перочинный ножик, что-то там такое чик-чик-чик, и умерший снова оживал. «Стенокардия, валидол, нитроглицерин», звучало черным шепотом у нас, в то время как от раков умирали соседки. Они ложились в больницы, чтобы скоро стать покойницами. Белыми, с ввалившимися глазами, вроде тех, что я наблюдаю каждое лето в Агнетлене, городишке на Полтавщине, где живут тетя Муня и дядя Бузя — седые как лунь, со смуглыми лицами и черными глазами очень симпатичные старички. В Агнетлене (в году 52-м) покойников возят по улице в открытых гробах на грузовиках с откинутыми бортами. Из домов выбегают посмотреть. Процессия людей, кормящихся трудом своих рук (а не ума, в отличие от нас «горбоносеньких»), провожает подобного себе в последний путь, который завершится под деревянной дулькой со звездочкой. С опаской, робко, но все же я верил: в том отдаленном будущем, когда это должно случиться со мной, человечество совместными усилиями что-нибудь придумает. А так как по-прежнему аппетит к жизни у меня волчий — хотя первый голод и утолен — я продолжаю в это верить.

Основания для подобной уверенности (моя вера не с большой буквы, она скорей житейского происхождения) дает мне элементарный здравый смысл. Логически: бесконечность мира — это бесконечность во всем, бесконечность не может быть с какими-то оговорками. Значит, это и бесконечные возможности: и ты прав, и ты прав, и ты прав, и ты прав. В том числе и я. Мир (весьма условное слово «мир» — жизнь, самоосознающее себя бытие), мир мало сказать бесконечен, он *потенциально* бесконечен за счет наших постоянно осуществляющихся желаний, которыми он создается. А если все же нет и он конечен — с хвостом, с головой? Тот же здравый смысл подсказывает: как большее и меньшее возможно воспринимать лишь в сравнении, так конечность возможна лишь относительно бесконечности, в сопоставлении с ней и в их противопоставлении. Бесконечность, прямо-таки на языческий лад, уживается с чем угодно, включая и представление о конце мира. (Это Иегова ничего не потерпит подле Себя — только кто его спрашивает, так, что ли?)

Помимо той самоочевидной для меня истины, что возможности человека суть его желания, коих он раб, существует другая самоочевидная истина: человек, как бы там ни было, это единственная форма жизни, осознающая себя и себе самой доподлинно известная, последующие (вышестоящие) формы — плод его гипотез, каковым еще только предстоит подтвердиться. Что предстоит, в этом нет никакого сомнения, всему предстоит подтвердиться, но поскольку бесконечность мира потенциальна — вовсе не данность — того, кто *спрятался за углом*, еще туда не поставили. Все предшествующие человеку (то есть нижестоящие) формы жизни, когда он на них оглядывается, иерархически выстраиваются по признаку затухания в них самосознания — тише — одушевленности — еще тише — потребности в

кислороде... и этакое *morendo* у всей струнной группы в конце смычка, музыкальное произведение кончилось. Так вот, с оркестром — это была ретроспектива, зеркально отраженное начало жизни.

Фронтальный жизненный опыт учит: эволюция жизненных форм есть, грубо говоря, стремление таблицы Менделеева к той одухотворенности, за грань которой я уже одной ногой ступил, однако перебросить другую ногу мне никак не удастся, и в результате я перерезан этой гранью пополам. Преодолеть ее, попав туда, где из-за угла уже выходит *следующий* — это и зовется благом.

Только с появлением форм жизни, себя осознающих, возможно отношение к тому, что ими, собственно, осознается. Так с человеком рождаются в мир желания. Не затем, чтобы диктовать его свободную волю — нет, они сами диктуются необходимостью волю эту осуществлять. Наши желания можно уподобить огням мчащегося в ночи транспорта — и при этом, что более важно, горючему. Не переставая быть субъектом эволюции, человек одновременно делается орудием ее. Отныне он — мотор этого транспорта. О том, кто в кабине, чуть дальше.

Жить! Не в рамках рода, не с целью его продолжения — жить во имя сохранения своего индивидуального сознания, во имя вечного его сохранения. В этом разница между инстинктом жизни и желанием бессмертия. Но «на стадии человека» разум* сосуществует с тем, что ему непосредственно предшествовало, отчего желания дублируются инстинктами — в одних случаях, или, наоборот, в каких-то случаях отчаянно им противостоят. На «стадии человека» разум не отменяет биологии. Сопутствовало ли нечто подобное первому преобразению материи, появлению цветка на камне? Цветок и камень, противостояли ли они друг другу, как дух отныне противостоит плоти?

Дальше встает проблема жанра. Есть вещи, которые с точки зрения хорошего вкуса обсуждать недопустимо. Как прикажете глаголом жечь сердца людей... в гостиную — без того, по крайней мере, чтобы из этого не вышла чудовищная пошлость (извини, Заяц). У оратора должны быть, как минимум, грязные ботинки — а лучше всего чирьи, блуждающий взгляд... Я же и чистый, и не вербую прозелитов, это и не исповедание веры — так, отвечаем на проклятые вопросы своими словами. Разве что за чашкой чая тоже можно вести теологические споры, а следовательно, помешивая ложечкой, рассуждать о страстях Господних.

Наличие во мне разом двух противоборствующих жизненных формаций делает мое положение драматическим, трагическим, комическим — в

* До сих пор я этого слова избегал. Ведь по-нашему как разум это то, что *облегчает* нам жизнь, труд, позволяет полней обслуживать свои запросы, удовлетворять свои потребности — в отличие, допустим, от зверей или первобытных людей. А при коммунизме и вообще у каждого будет вертолет — дальнейшее известно из анекдота: передали по радио, что в Кукуеве яйцо доют — мотор завел, топор за пазуху...

зависимости от угла зрения. Больно нелепа, неудобна поза, «когда одной ногой уже ступил, а другую никак не перебросить». Через меня пролегла граница, верней, демаркационная линия: Что ж, я — арена борьбы, все правильно; и счастье мне не светит, о воле уж и говорить не приходится, а покой — это недолгие передышки, потому что сохранять лояльность одновременно двум воюющим сторонам удастся худо-бедно, если военные действия не ведутся на твоей территории. Можно, конечно, эту ситуацию двоевластия разыграть — создать ощущение единого целого, декорировав физиологию «а ля франсэз». Но французы, известное дело, чужим заговором спасаются. Нам — вести войну на немецко-русский манер, до победного конца. (В каком-то смысле итальянцы нашли невероятный баланс (гуманизм), почему все, и прежде всего англичане — суббота нашей культуры — так к ним и льнут).

Человек — это бой за бессмертие. В начале семидесятых я сподобился написать рассказ, посвятив его памяти Вейнингера и назвав «О теле и духе». Это о *том самом*, но просто я сфокусировался на частности: моя раненая душа истекает ревностью, которая, в отличие от крови, не свертывается. Я тогда был весь в ревности: все никак не мог успокоиться с Наташей, с трепетом ждал, когда Фунтик нарушит данную ею клятву — и вообще, как безумец *рассудительно* и *отрешенно* исследует свое безумие, так я пытался понять *истинную* природу ревности. И что вы думаете — понял: Не в пример тем, кто ничего не понял в моем рассказе. Впрочем, допускаю, что он не получился, уже неважно, это было давно. Имитация исповеди, роковые признания, имя автора, сверкнувшее вместе с оружием, которое *нашла рука* — все вполне сошло за чистую монету, но при этом не помогло произвести должный эффект. «О теле и духе» я долго не мог напечатать. Только после того, как вышел «Эдичка», мне удалось пристроить своего «гуленьку» — все в том же Израиле, почему-то... Между прочим, посвящение я там сопроводил сноской. Приведу ее целиком — Вейнингер нужный нам человек, с другой стороны, я совершенно распоясался по части стиля, справедливо или несправедливо полагая, что, кто дочитал меня до этого места, тот *мой* и уже никуда от меня не денется.

ОТ АВТОРА

Рассказ этот есть в некотором роде опыт художественного реферата книги Отто Вейнингера (1880–1903) «Пол и характер», вышедшей в свет уже после самоубийства ее автора. Эпиграф («Вник ли ты в этот крик любви?»), цитата из «Кольца нибелунгов» Рихарда Вагнера, взят мною с одной лишь целью: провести параллель между вейнингеровским отношением к женщине, точнее — возможной первопричиной такого отношения, и обстоятельствами, при которых нибелунг Альберих с оперных подмостков произносит свое «проклятие любви». Напомним, что предшествует этой сцене безуспешные попытки урод-

ливого карлика (по Вагнеру, Альберих — воплощенное еврейство) снискать благорасположение рейнских русалочек — трех молоденьких немочек, власьт поиздевавшихся над его беспомощной похотливостью. Кстати, Вейнингер (между прочим, утверждавший, правда, в связи с другой оперой своего кумира, «Парсифалем», что музыка эта «навекки астанется недоступной для настоящего еврея») писал: «Еврей всегда сладострастнее, похотливее, хотя... обладает меньшей потентностью в половом отношении... меньше способен к интенсивному наслаждению, чем мужчина-ариец» — причем тут же сквозь зубы оговаривался, что и сам принадлежит к этому жалкому племени... Покуда Вотан во второй картине «Золота Рейна» любитесь кальцом, отнятым у плененного нибелунга — этого Черномора на германский лад, «из жалостных жалостного раба» — пронизательный Логэ иронизирует по поводу проклятий Альбериха, именуя их «приветам любви» (в русском переводе — «крик любви»). И тут сам собой напрашивается вопрос: а вейнингеровские проклятия — женщине, еврейству, его брезгливое бегство в педерастию, наконец — роковой выстрел в музее Бетховена — не является ли в сущности все это таким же криком любви, не слышится ли за этим глумливый смех какой-нибудь русалочки?

Т.-А., «22» N.8, 1979г.

Вейнингер — это негатив Федорова. Нет, неточно. Вейнингер — это Федоров в безысходности, без своей «Философии общего дела». Последняя дает Вейнингеру шанс. Но соединить обоих нет никакой возможности — это как сосватать птичку с рыбкай. Воображаю себе Федорова, слушающим в Большом зале консерватории «Вступление» и «Смерть Изольды» («Liebestod»). Тогда как Вейнингер гностиков третьего Рима не то что из своего венского* далека, но в упор — тоже бы не разглядел. Рыбка и птичка. В итоге один стреляется... чтобы попасть в плен к немцам: он станет любимым героем их расовых саг. Другой пленяет россов идеей великого преобразования природы, но — русскую идеей: сразу всем миром навалимся, только в интересах общего дела предварительно перебравшись в арестантские роты.

Что мне интересней знать *почему*, нежели *что* — с этого я начал. (Например, переспать с женщиной, почему это грех, отец мой?) Вейнингер при абсолютной бездоказательности своих положений — попытками обосновать которые он только все портит — объясняет тем не менее именно *почему*. Почему он застрелился. Федоров, русопят, долдон, для которого нет понятия вечности — бесконечность! — в ком «великая славянская мечта» уж точно осуществилась — Федоров как раз постоянно

* Город, где разлит тонкий аромат смерти.



вам говорит что. Если б он еще сказал как. Его мужеско-братские отношения с подключением к ним в перспективе понурого вывода отцов обернулись хрустальным гробом посреди чевенгура — правда, после этого традиционного «ату!», произнесенного по адресу Николая Федоровича Федорова, хочется добавить: а все-таки будущее слева... А все-таки она вертится. Если б Вейнингер в тот роковой день вместо музея Бетховена зашел в планетарий... Он не мог: смерть, Вена, музыка. Смертная красота Европы, пронзенная стрелой времени. Городá.. Архитектура — это всего лишь застывшая музыка, собор Святого Стефана — застывший «Реквием». Вот что таило для его сердца неизъяснимы наслаждения —

Бессмертья, может быть, залог!

Нет, он не мог пойти в планетарий, дитя великой европейской культуры в ее предзакатный час, европейский еврей — а значит, переживающий время с удвоенной остротой. (Теперь вы знаете, откуда берется знаменитая

еврейская музыкальность — впрочем, с этим, кажется, покончено ввиду грядущих эволюций, то есть с приближением «конца времен». Музыкальная ткань уже начала разрушаться. На европейской музыке можно погавить крест.)

Залог бессмертия не в «Реквиеме», не в музыке или в поэзии, не в силе охватившего нас экстаза. Эстетически переживать течение времени означает быть под действием наркотика — единственного, дающего иллюзию бессмертия. Время грозит нам гибелью, и, построив на нем свою

энергетическую станцию прекрасного, мы бессознательно предаемся блаженству своей якобы победы над ним. Русская идея парадоксальным образом имеет целью спасти *тленные* сокровища духа, порожденные западным «темперализмом», укрыть их своей космической шубой. Ибо русская идея в том, что *простор переходит в пространство*.

Теперь моя идея: время — это всего лишь топливо, расходуемое на движение в пространстве (на сотворение пространства, заполнение пространства — что есть всеобъемлющее условие бытия). Говоря современным языком, залог бессмертия — в замене энергоносителя.

Так почему же переспать с женщиной — это грех? «Виктош, — спросил я у одного трубадура из котельной, который ходит в церковь, — а с бабой трахаться это грех?» Витя, по его собственным словам, распутин известный. «Смотря с какой бабой.» (Вариант: «Со своей или соседа?») «А вот, Виктоша, по религии?» «Смотря по какой религии. По вашей — это мицва называется: доброе дело, значит, сделал. Себе и бабе.» «Нет, погоди. По *нашей* это называется первородный грех. И по вашей. И по татарской.» Виктоша знает это — взыскующей небес душою. Грех, конечно... Но это такой грех, что ... не зря говорится, основной инстинкт. Да и вообще, чего ты при...ался?

У Виктоши слабо с объяснениями на сей счет. «Потому что подзалететь можно, вот почему. А потом, понимаешь, трагедии.» Воровать — он знает, что грех, и знает почему. Родителей там... тоже ясно. Что Бог ревнив, хочет только, чтобы его одного любили — знакомо. Недаром: «И сотворил по образу и подобию Своему». У нас с Ним общие слабости, ха-ха-ха... (Богоподобие человека тем легче представляется человекообразием Бога, чем чаще вы в детстве ходили в церковь: иконопись этому весьма способствует. Я часто ходил с одной нянькой в Спасо-Преображенскую. Поэтому много лет меня потом коробило, когда — в какой-нибудь экранизации, где еще я это мог видеть? — офицер, в шинели, в погонах, форма волнующе-современная, входит в церковь и там крестится на образа. Где его гордость!) Но как объяснить, почему с бабой-то грех? Вика знает, даже есть вроде бы такие секты: как жена забеременела, муж сразу все. Завязал узелком. Мол, теперь без надобности. У монахов в определенные дни принято и выпить и закусить, но в смысле женского общества — даже по самым большим праздникам... «Ну, монахам это и правда грех, — согласен Виктоша. — В конце концов, в монастырь тебя никто не гнал.»

А вот мнение *Сергеевны*: «Почему грех? Потому что грязь это.» «Если по любви, то не грязь», — возражает ей (заочно, монтаж) Лора, библиотечный работник. Еще более интеллигентная женщина по поводу того, что можно показывать в кино, а чего нельзя — разговор велся несколькими годами позже — сказала, очень решительно и даже хлопнув ладонью по столу: «Показывать можно все. Но красиво», — добавила она, смягчившись. «Любовь должна быть красивой», — сказал я. «А что вы думаете.» Мы оба

знали, чем разговор для нас закончится. Студенты говорили про эту жадную до мужчин сорокапятiletнюю концертмейстершу из класса камерного ансамбля, что она блядь. Тетя Розочка, запудренная, как сдоба, со следами былой красоты и благополучия — в виде «маркизы» на пальчике и картин, развешанных по стенам двух ее комнат на Васильевском острове — когда в подобных случаях предоставляла *нам* убежище на несколько часов (ни минуты не сомневаюсь, что с ведома моей матери), всегда успевала шепнуть мне что-нибудь игриво, прежде чем уйти, например: «А по закону Моисееву-то приятней», — при этом ущипнув меня. Сама она «держала» вдовство с сорок первого года, ее муж был единственным сыном знаменитого педиатра Конухэса, частичку квартиры которого тетя Розочка и занимала.

Этот парад суждений и замечаний пускай завершит одно, недавно услышанное. В нью-йоркской студии «Свободы» философский диспут: много Достоевского, много Бердяева, общий посыл — щеголевато-элитарный, и тут кто-то из бродвейских мыслителей роняет, по поводу им же походя упомянутого бердяевского, что половой акт безличен: «Ну, это, положим, зависит от партнера».

— Ну, хорошо, я тебе скажу, — Виктошу все же забрало, он ведь по натуре Платон Каратаев, имеет на все ответ. А главный его кайф — барина поразить, а после еще полюбопытствовать с невинным видом: да ты чего? Это ж так... это моя лягушонка едет в коробочке. Как Клюев — в мнимом смущении кому-то, застигнувшему его с немецкой книжкой «врасплох»: «Да уж маракуем по-басурмански». — Грядущее блаженство надо заслужить, — говорит Виктоша. — Проходишь великое искушение одним, другим. Все царства мира показал Сатана Спасителю. Миллион удовольствий. Вот детям... почему им не дают сладкого, телевизор не дают смотреть и вообще... Чтоб не разбаловать. А то вырастут, и у кого задница непоротая, того жизнь будет пороть. Так наши отцы считали. А наш всеобщий Отец... иже еси на небесех, да святится имя Твое, да будет воля Твоя... — Вика крестит рот, он так же крестит его, когда зевает, — Он эту нашу земную жизнь тоже как бы детством считает, мол, страдать должны, сукины дети — тогда в вечной жизни будете мне спасибо говорить. Никаких чтобы сладостей, никаких удовольствий. Грех! А самое сладенькое удовольствие у нас какое? Женские формы наполнять мужским содержанием. Аналог творчества, мой милый. Ян и Инь.

— Знаешь, Виктош, по-моему, рай в твоём представлении — один сплошной оргазм.

— Я не против... Душа спускает двадцать четыре часа в сутки.

— Ты в рай все равно не попадешь, греховодник.

— Ну а что, человек — дитя неразумное. Дети, разве они всегда родителей слушаются? Ничего, родители прощают.

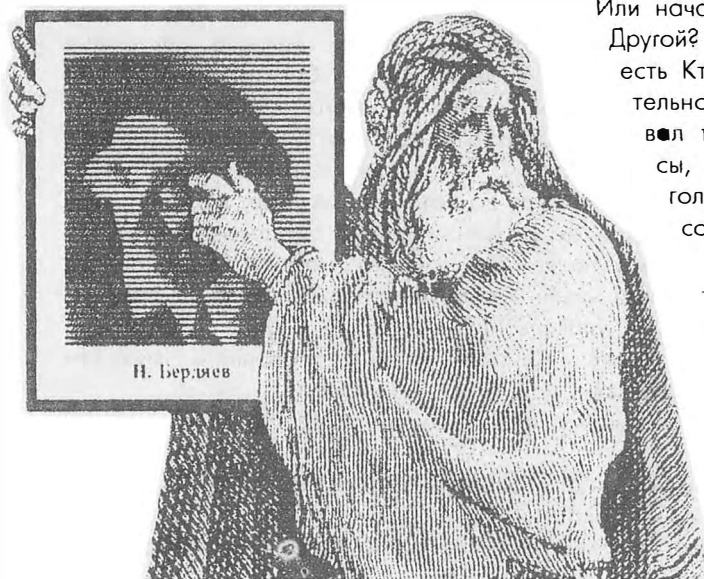
Что следовать «основному инстинкту» грех — как бы и само собой ясно, а вот почему — вам так просто никто не объяснит. Да и само собой ясно это скорей мужчинам, женщины пассивно перенимают мужской взгляд — попробовали б не перенять... Но без батюшек наверное и *честные* девушки не сочли б грех -- за грех. Даже до замужества

Тем не менее то был, выражаясь языком канцелярии Всевышнего, *поступок, несовместимый с дальнейшим пребыванием в раю*; поступок, которому человек обязан своим падением, от которого одного лишь предостерегал Господь Бог Адама и на который коварными устами неслышно пресмыкавшегося среди райского гравия Змия лукавый враг рода человеческого подговорил женщину, а та -- своего ребячливого муженька. Поступок, о котором говорится *основной инстинкт* и при этом *первородный грех*. Это отождествление инстинкта с грехом позволяет различать между инстинктом продолжения рода и желанием вновь обрести утраченное бессмертие -- ведь они совпадают на то время, покуда от одного к другому переходит эстафета жизни.

В первых главах книги Бытия есть все, включая и великую загадку: исходная ли сила Бог? Ибо неясно, волен ли Он был *не* сотворить человека — каким его сотворил? Если да, то почему уподобил гворение Себе -- а значит, наделил человека своим творческим потенциалом, который тот не может рано или поздно не реализовать. Или Он этого как раз втайне бы желал? Согворил человека на гибель некоему Узурпатору? О, как бы нам не была уготована в таком случае роль Зигфрида! Или согворил, а потом передумал?

Или начал Один, а завершил Другой? Бог и Дьявол, Кто есть Кто? С Кем в действительности Адам разговаривал тогда в лесу? Вопросы, вопросы... ох-ох-ох, голубчик, я с ума от них сойду

Сотворение мира — это детектив, который нам не по силам распутать. Страсть к чтению детективов непродуктивна, равно как и страсть к решению «проклятых» вопросов. Тут я агностик. «Разве



я хочу все знать?» (Спрашивает Михозлс — отвечает Михаил Ульянов) «Я хочу жизни вечная — вот чего я хочу». Самая темная фраза во всей Библии, породившая, однако, самые светлые надежды, звучит так: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в этот день, когда вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги...» Этого знания мне более чем достаточно. Не случайно на вопрос «есть ли Бог?» некий персонаж некоего абсолютно борхесовского рассказа Набокова (Фальтеру на какой-то миг открылась истина) прямо сказал: «Холодно», в смысле не там ищете. Это и вправду для нас в данный момент неважно и, главное, ничего не меняет. Важно знать конкретный следующий шаг на пути к бессмертию — каждого и всех вместе. Прочее — халоймес. Нам все равно ничего не понять, как в первом классе не понять объяснений, предназначенных для десятого.

Бердяевское высказывание — которое еще так простодушно прокомментировал кто-то на «Свободе» — гласит: «В самом сексуальном акте нет ничего индивидуального, личного, он объединяет человека со всем животным миром». Несколькими строками выше Бердяев говорит, что пол унижает достоинство человека. Еще бы! На «стадии человека» пол уже не биологическая характеристика, а биологическое оружие (семантический каламбур случаен, хоть и знаменателен), вопреки эмансипации, пол по-прежнему не сводим к ♂ и ♀, как к каким-нибудь двум группам крови, различие между которыми существенно лишь при ее переливании. Не то что вот спохватываются: ах, черт, мне же рожать, я же ♀ — а то б и забыли вовсе кто есть кто, благо — как сказано якобы в Талмуде — мужчина и женщина ничем между собой не отличаются, просто то, что у мужчины снаружи, у женщины внутри; высказывание по тем временам прогрессивное. Вейнингер, уже когда по Вене бегали первые автомобили, категорически отрицал наличие у женщины души, то есть по отношению к нему известный средневековый собор, постановивший считать женщину человеком, был шагом вперед (отцы собора разделились на партии, пока не был приведен следующий аргумент: Иисус Христос называется в Евангелии *сыном человеческим*, но на земле он был только сыном Девы Марии, женщины, следовательно женщина — человек). Еврей и женщина не могут претендовать на обладание душой. Они по уши в физиологии, в телесности, для них идея тела и идея рода — альфа и омега бытия (либо материнство, либо проституция — третьего женщине не дано). Только у евреев сводни — мужчины. Еврейский народ есть женщина среди народов — считал еврей-педераст Вейнингер. Розанов — любитель этой темы, но для него, существа в малой степени духовного и в большей степени *парного*, как раз это — плюс в евреях. Вообще же Розанов болтун, находка для шпиона. «Молчи, баба! Не выдавай тайн!» грозно кричит он Вейнингеру, и сам же удостоивается статьи «О вечно бабьем в русской душе».

Пол — это половое влечение, это влечение к тому *самому сладенькому удовольствию*, в котором — я позволю себе процитировать здесь автора,

понятия не имевшего о Бердяеве — «мы равны козам, козлам, буйволам, оленям: серым, пятнистым, белым...» И дальше: «Пол — это антикатарсис, забвение телом души. Антикатарсис, где властительницей Венера, тогда как на противоположном полюсе Аполлон властелин... Антикатарсис, расстегивающий поясик и ремень — это совсем не стыдно. Это так же, как стыдиться родителей.»

Половое влечение, в какой бы непредвзвешенной форме не существовало и каким бы периферийно-невинным не был интерес, все равно стягивается к антрацитовому зернышку оргазма. И глядишь, Бердяев -олень. Я не хочу!.. Я мозг!.. Я достоинство!.. Я свобода!.. А мне, Бердяеву, эта кодла говорит: «Спиной повернись и прогнись.» Я противлюсь, но под силу ли мне им долго сопротивляться. И вот меня уже ставят на четыре кости, раздвигают ложесна, и ходит он взад и вперед, и уже у меня краснеют губы от восторга и мутнеет взор, и вот я воплю насильнику: «Твоя! Твоя!» — на глазах той, кому я совсем еще недавно клялся в верности. На глазах моей души. (Недаром я сказал, что «обычно помалкиваешь о насильственно доставленном тебе удовольствии». Не помните...) Мужчина резко выходит из этого состояния, женщина — долго, нехотя, помня, как ей хотелось пить.* Так что не всякое животное после соития печально.

Забвению теплом души противопоставляется *забвение душою тела*. Но можно говорить о симметрии — хотя бы о симметрии? Попробуем: «Мелодическая линия арии «*Erbarme dich*» («сжался») с успехом противостоит линии бедра Катрин Денев», — и зал кудахчет от хохота.** Когда-то, по словам Виктоши, на вопрос, как отличить искусство от порнографии, лектор по марксистско-ленинской эстетике ответил ему в частной беседе: «От произведения искусства, Вита, никогда, у вас стоять не будет.»

— Представляешь, скотина какая? — смеется Виктоша. — Дурак. От настоящего-то как раз и будет.

А я так думаю, правильно, молодец, Александр Александрович (его звали Александр Александрович Самоцветов), а ну их буржуазных эстетиков. Умерщвление плоти и изгнание бесов совершаются благолепием: красота и пол несовместимы. Будем говорить в понятиях христианства. Да, Бог — вечная жизнь и потому абсолютное благо. Да, Сатана — смерть, косная материя. Человек — поле брани. Все соответствует (если не задавать лишних вопросов насчет того дерева в раю). Путь к спасению — умерщвление плоти, в которой гнездится дьявол, способов умерщвления плоти — миллион, включая и «одесский»: вырви глаз — описанный

* Дома в купе. «Ах, как хочется пить!.. О, как я хочу пить!.. Боже, как я хочу пить!» Так всю дорогу Какой-то пассажир не выдерживает, приносит ей воды Вылив: «О, как я хотела пить.. как я хотела пить »

** Читателю на самом деле хорошо знакома эта «мелодическая линия», если не по *Matthäus-Passion*, так по фильму «Жил певчий дрозд» Ничего, не комплексуйте, зато музыканты знают Пушкина по операм Чайковского

Л.Н.Толстым (то есть, конечно, *умерщвление плоти* — тавтология, обличающая скрытое неверие: плоть же и так мертва, *еще мертва*, воскресение ей еще только предстоит). Путь к гибели прямо противоположен пути к спасению и, в отличие от него, однозначен. Князь тьмы (тьма-небытие) знает только один способ нас закогтить: через пол, вожделение, разражающееся торжественным оргазмом. Сие — торжество смерти. Оргазм есть ее, смерти, прообраз, момент поглощения духа материей. В каком-то смысле стремление к этому — стремление в небытие. Скажут: инстинкт продолжения рода, продолжения жизни — какое же небытие! Но продолжение рода — движение по горизонтали, тогда как человек — вертикальный взлет. Представьте себе это зрительно. Тому, кто обращен лицом вперед, вертикальное направление кажется горизонтальным, прежняя же горизонталь отныне круто ведет вниз.

Однако, красота — это бессмертие на вкус, лишь на вкус. Сама по себе она смертна, ибо доступна нам через переживание, в *процессе* переживания. Все дается на время (в случае музыки процесс звучания и процесс переживания синхронны). Из желания вкусить бессмертие родилась потребность в прекрасном. Но это мнимое, иллюзорное бессмертие, наркотический дурман. (*ορϋασις* и *καϋαρσις* понятия сваявшиеся, хотя по-гречески это не так заметно). Если оргазм — смерть на миг, то катарсис, «отделение души от тела» — бессмертие на миг; на миг, поскольку душа без тела смертна. Потому мы чаем *воскресения из мертвых во плоти*. Мне это видится не как фигура речи, а как живое дело.

Я не помню, чтобы Федоров свою антипатию к деторождению объяснял где-нибудь иначе, нежели потребностью устранить несправедливость в отношении умерших поколений. Несправедливо, эгоистично и крайне неблагодарно воспроизводить себя в потомстве, в то время как отцы, даровавшие нам дыхание жизни, обречены забвению. Воскресим их! На это направим все *совокупные* силы своего ума. Догоним и перегоним Всевышнего в выполнении этой задачи — похоже, Федоров боится, что Тому она не по силам. Это чисто гностический взгляд на мир: Творец оказался недостаточно искусен (или недостаточно благ — кошмар Бердяева, который, не сомневаясь в существовании Бога, отнюдь не убежден в Его доброй воле), творение само должно себя усовершенствовать. Так, в который раз, вероятно, возникает учение о Богочеловечестве. В лице Соловьёва оно даже берет под свою защиту иудейский физиологизм: евреи приуготовляют Господу «святые тела». Соловьёв был слишком мужчиной, чтобы не любить еврейство. И все трое — Федоров, Соловьёв, Бердяев — ничего общего не имея с «РПЦ», не порывали с ней. Не по недостатку духовной честности или гражданской смелости, равно как и не в силу родового предрассудка (Соловьёв и Бердяев были заражены им в ничтожной мере), но поскольку справедливо считали православие религией национальной, а национальное — это простор, переходящий в простран-

ство То есть прямой путь в бессмертие, магистральный -- на котором всем места хватит. По той же причине Федорову верить в Бога *надо*, таков долг перед отцами, хотя в рассуждении «философии общего дела» Бог -- это утопия. Полная неуместность Бога у Федорова, принимающего на себя Его функцию, очевидна.

А верю ли я, Такойтович, в Бога? Иногда мне кажется.. Но прежде я доскажу о Федорове Думаю, насколько он лукавит, выставя себя верующим («Почитаю Великий пяток», настолько же он кривит душою в том, что касается деторождения. Не потому он предпочитает предков потомкам, что, в отличии от первых, последним мы ничем не обязаны. Наполнять космос можно и теми, кто еще не родился, и теми, кто уже свое отжил Им нечего делить. На бескрайних просторах севера (оговорка по Фрейдю -- космоса) бесчисленные поколения вполне могут слиться в общем хоре, прославляющем ну не Бога, так свое братство (картина на самом деле не столь безогратно-хоровая -- можно ведь *запеть* и великую игру) Для Федорова, хотя прямо он ничего такого не говорит, неприемлем *способ* деторождения. Он хотел бы остановить эту оргию, а взамен заняться воскрешением умерших. Семя долой!..

Если б я попытался набросать отдаленное будущее парой штришков (а детальней и нельзя, почти ничего не проступает), я бы начал с того, что оно никакое не будущее, оно будущее только для нас С *заменой энергоносителя*, которого расхотать нам осталось гораздо меньше даже, чем израсходовано от лета Господня и досель, временные формы сохраняются только в грамматике (грамматика сохраняется). Голубой планете быть в центре мироздания и вовсе считанные века Земля прохудится в результате всех наших стартов, и тогда придется стартовать раз и навсегда («навсегда» утратит смысл с заменой «энергоносителя») Не знаю, дальнейшим формам жизни -- а это уже будут исключительно *осознающие себя* формы жизни -- предстоит сменяться столь же драматически, как это происходит на «стадии человека», или с победой разумо все примет иной характер.

Собственно, я больше ничего не знаю, кроме того, что если жизнь растекается по вселенной -- значит, это кому-нибудь нужно Причины этой нужды откроются лишь с упразднением самой причинности, что неизбежно, когда из ноосферы (скажем так) будет выпущено время Иными словами, откроется только, что нечему открываться Хочу еще раз напомнить читателю, что писать на эту тему, не впадая в кликушество и не выпадая в научную фантастику, очень сложно

Итак, высшая гармония, «Гармония мира», видится мне в равенстве потенциально-бесконечного пространства количеству оплодотворений всех ♀ -- всеми ♂ во всех возможных комбинациях -- также и в бывшем прошлом, с учетом обретения законами природы «обратной силы». Мне это и самому гуманно: существование разумных форм жизни, ведущих свой

генезис от человека Но, как говорил старец Зосима, «буди, буди». Поверьте, взгляд циничного шарлатана, каковым, помимо прочего, является Такойтович, пронзительней фонарика минипусенького специалиста, видящего с гулькин нос. И я бешусь, когда читаю: «Ангелы -- не комары, и их не хватит на всех». Это ангелов-то? Которых и на острие иглы не счесть?!

К вопросу вопросов -- о существовании Бога и о самом Существое Его -- что бы я мог сказать после всего сказанного? Что, поедая дольки апельсина, мы съедаем апельсин. Вопрос вопросов не требует ответа уже по определению -- будучи суммой вопросов, каждый из которых ждет своего решения. И дождетя. После чего окажется, что не Бога нет -- нет такого вопроса Как же можно отвечать на несуществующий вопрос?

А то вдруг все представляется «изошуткой» на первый взгляд фигура -- руки, ноги, голова Но когда повнимательней присмотришься, видишь: это некий муравейник, мириады человечков, заполнив картинку с краев, очертили собою пустое место в форме этакого -- словно возлежащего в окружении черных песчинок -- Гулливера или Кинг-Конга Но откуда же тогда берется во мне это «Бойся!», поставленное в эпиграф книги, предостерегающее меня денно и нощно, ни на миг не покидающее меня «Бойся!» Страх Господень откуда во мне, коли все это лишь пустота, ну, может быть, вакансия... Мое «Бойся!» -- не страх посмертного воздаяния, кристаллизующийся в специально воздвигнутых с этой целью прехорошеньких градириных -- предбанничках загробной жизни, разбросанных по всей земле Мне неведом этот страх, я отвергаю посмертное воздаяние Сам напартачил, а меня наказывать? Нет уж, наказывай Себя! Впрочем, так оно, судя по всему, и происходит, иначе не было бы «проклятых» вопросов.

Прягней всего беззаботно верить в Бога, беззаботно утверждать, что человек наделен свободной волей, любоваться при этом порталами церкви и фресками итальянского «кватроченто» И под музыку, непременно под музыку Некого композитора, прожившего мафусаилов век (род. 1685 -- ум. 1827) Это называется «красиво жить не запретишь». Может, и мне бы хотелось быть среди этих счастливцев, но, очевидно, счастьем действительно мешает знание добра и зла

Заго конкретный ближайший шаг к физическому и биологическому переустройству мироздания я ясно вижу: физиологическая эмансипация женщины Социально-правовая уже совершилась -- насколько таковая возможна при сохранении библейского проклятия «рожать в болезни». Но вот-вот в наших силах будет отворотить и само проклятие -- довести зародыш до состояния человеческого младенца без того, чтобы «братья напрокат» мать И согривляйся, не сопротивляйся, погрясай хоть Хаксли, хоть Библией, это все равно в *плане*, природа не терпит нереализованных возможностей Это будет непосредственным шагом к тому, чтобы самим себя начать избавлять от наказания, которое навлекли на свое потомство

Адам и Ева; и это будет первым шагом во исполнение того, что посулил Еве змий: станете как боги.

У кого-то уже вянут уши: и реки вспять обращали, и полмира отравили, и социальную революцию устраивали. Не получилось — тогда примемся за биологические эксперименты, авось эдак получится себя окончательно прикончить. Думайте, что хотите, а деваться некуда. Чем кардинальней бывали попытки до сих пор сделать землю небом, тем большими катастрофами они оборачивались, хоть тектонический сдвиг в микрон (в нужном направлении) все же происходил — притом, что расстояние требуется пройти, может быть, в миллионы световых лет. И реакция на это «справа», сколь бы беспощадной она ни была, в сравнении с теми бедами, что несет с собою очередная вспышка гностической активности, кажется детским лепетом — по крайней мере, тем, кто испытал последнюю на собственной шкуре. Все так. Тем не менее мир будут переделывать и впредь, с минимальными успехами при максимальных издержках. *Деваться некуда.*

Если завтра где-нибудь в калифорнийской лаборатории (или на другом каком-нибудь островке будущего) будет выведен гомункулус, черненький, беленький, желтенький, вполне здоровенький, и вручен своим сверкающим голливудскими улыбками родителям, прилетевшим за ним из Гонолулу — а не завтра, так послезавтра это неизбежно произойдет — то на первых порах никаких чудес за этим не последует. Ну, вознегодуют *зеленые* всего мира, от ирландских католиков до иранских мулл, фонетикой обреченных брести где-то с вьючными животными. Китай попросит поделиться технологией — чему категорически воспротивится Конгресс на том основании, что в Китае это повлечет за собою массовые нарушения прав человека, ведь не секрет, зачем это им надо: людям запретят заводить детей иначе как вышеуказанным способом, что даст возможность установить наконец полный контроль над рождаемостью.

Пока китайцы корпели над созданием собственной технологии, представительницы белой расы увидали, что в лабораторных условиях дети получаются ничуть не хуже, чем в домашних. «И ты понимаешь, Манечка, даже риска меньше, не говоря об остальном. Так что, по-моему, глупо не пользоваться *благами цивилизации*.» Разумеется, не обойдется без «экологических» демаршей. Вновь объявятся желающие рожать самолично — в надежде разрешить какие-то свои проблемы. Их поддержат психологи, возникнет соответствующая литература. «Собственных детей рожать собственными чреслами!» или просто «Мама-а-а-а..» — легко допускаю такие лозунги на собраниях последних феминисток, которые, борясь за права женщин, — вероятно, это будет называться «за право женщины остаться женщиной» — окажутся повернуты лицом к домострою.

Неизбежное зло, перестав быть неизбежным, перестает быть злом. Когда-то я это изрек и повторяю при каждом удобном случае, потому что

так действительно всегда и во всем. Избавившись от тяготившего над нею проклятия — рожать в муках, женщина (какая-то их часть) поспешит представить беременность благословением, главной своей отрадой и, в конце концов, главным преимуществом своего пола. Мы им не верим. На заявлениях этих оставшихся без работы фемисток будет лежать печать социального эстетства: пахать подано, ваше сиятельство.

Подумать только, я подбираю аргументы для какого-нибудь телевизионного диспута, где одни будут говорить: «Глупо, Манечка...», а другие им возражать как бы устами младенца: «Мама-а-а» Диспут произойдет примерно в последней трети следующего века. Однако если бы чудом я мог переговорить сейчас с кем-то из его участников, то не стал бы, конечно, справляться, когда и как я умер, не сильно ли мучался. Страшно: а вдруг твое имя им ничего не говорит.

Правило, что неизбежное зло, перестав быть неизбежным, перестает быть злом, справедливо, но лишь в эстетической плоскости (мне недосуг приводить примеры). А вот как обстоит дело в ситуации прямо противоположной? Как быть с «неизбежным удовольствием», сопутствующим греху? В мое время, в моей стране и в моем дворе о сладострастных действиях, обозначаемых нецензурным глаголом (или о нецензурном глаголе, обозначающем сладострастные действия) дети дошкольного и младшего школьного возраста узнавали тогда же, когда узнавали, что подлинной капустной грядкой является тетин живот. Однако связи между тем и другим не усматривали — взгляд, который отныне предстоит усвоить и взрослым. Бог весть, чем это обернется в третьем-четвертом поколении (я разумею половой инстинкт), во всяком случае, такая — психологическая — унификация пола вряд ли способствует росту чувственности. Знай Федоров, что в итоге биологических изысканий женщина перестанет быть сосу́дом греха, бедро Катрин Денев перестанет быть резиденцией Сатаны — он бы, пожалуй, дал добро на заселение вселенной не только отцами,



но и детьми, зачатыми безгрешно и рожденными бескровно

Но пока это еще не совершилось, и, как наркоману всего милей его наркотик, а разговоры о пагубных последствиях ему «по уху», так же и человечеству мил его грех, и расставаться с ним оно не хочет (ну и не надо, само собой получится, половой инстинкт ослабеет за ненужностью, а там, глядишь, как в анекдоте: «Доктор, только не режьте.» «А вы, больной, станьте на стульчик, теперь прыгните, видите, сам отвалился») Борьба в человеке двух жизненных формаций — согласно традиции, борьба за человека между Господом и Дьяволом — имеет следствием существование двух типов характера и соответственно двух социальных тенденций, одну бунтующую, другую охранительную. Когда я говорю о еврейской предрасположенности к фашизму, то имею в виду особую телесную закваску, освящение материального мира — все то, что давно стало общим местом в описании моего соплеменника как антисемитами, так и жидолюбями: семейственность, трезвость, родительские доблести, абсолютная замкнутость на свое племя, абсолютная замкнутость этого племени на своего Бога и т.д. Вопреки расхожему представлению обывателя, евреи — нация крайне правой ориентации. Даже вовлеченному в русский гностический бунт, еврейству удалось сохранить свою «линейную»* сущность. Материалистическое, антирелигиозное сознание советского еврея-технократа этому подтверждение (охотнорядцы с крестиками убеждены, что атеисты-евреи осознанно натравливают таким образом своего злобного демиурга на русского Христа). И уж понятно, что никогда, ни при каких обстоятельствах еврейство не стало бы посягать на институт брака, пускай и бежало в первых рядах большевистского воинства — уже вполне готового отменить и этот вид частной собственности.

По правде говоря, эта тема меня волнует. Тут есть неясность, касающаяся меня лично. Я не вижу еврейству, с учетом его специфики, места на моей карте счастливого будущего — этого прекрасного нового мира, куда все должны попасть и, следовательно, евреи тоже. Фашизм у меня, в противовес гностической вертикали, — это метафора привязанности к телу в его временном непресуществленном бытии. Это могло бы быть даже его определением, наряду с тем, что уже давалось ранее: «Фашизм — это почитание совокупляющихся мужчины и женщины как абсолютной святыни, при том, что их акт есть наш акт и они сливаются с нашим Я» (начало книги «Фашизм и наоборот»). Зачем же тогда было еврейство, какой смысл было себя блюсти — или мы один из рукавов лабиринта, никуда не ведущий? Как быть с обещанием, что Израиль спасется весь — что это, злая шутка демиурга, тогда как Израиль единственный из народов, что, храня ему верность, погибнет вместе с ним? И прав, выходит,

* голосоведческую, горизонтальную — см. музыкальный словарь Щадика)

Вейнингер, считавший признаком еврейской исключительности отсутствие души и с горя пустивший себе пулю в лоб?

Я кокетничая, в отличие от Бердяева, и впрямь опасавшегося, что Бог — всего лишь злобный демиург. Я не сомневаюсь: Израиль спасется весь — и в первую голову* Что-нибудь там предпримут по части времени, в какой-нибудь своей модификации оно сохранится.. Мы же это время, воплощенное время. Потому наши бумажники и кошельки набиты им так туго. Тривиальнейший парадокс: мой страх, то, что денно и нощно, во сне и наяву я *боюсь*, питает мою отвагу, можно сказать, раскормил. Нет, меня не пугает перспектива окзаться обманутым — ни в качестве еврея, ни в качестве человека.

Мы знаем уйму сюжетов, когда убежденный антисемит (или просто нееврей) узнает о своем еврейском происхождении перед депортацией: родители младенцем отдали его соседке-литовке, та после войны была репрессирована, ребенка отправляют в детдом, только случай помогает узнать правду, после чего Савл становится Павлом. А вот как наоборот, когда *гордый еврей*, настроенный на волну *исторической памяти*, «в моих жилах течет кровь древних пророков» — примерно так думающий о себе и на этом основывающий свое мировоззрение, вдруг выясняет: он — приемыш, смесь бульдога с носорогом? Что бы я сделал, узнай такое о себе? Не могу представить. По моментальной обездоленности я даже не знаю с чем это сравнить. Безвестный графоман, всю жизнь черпавший силы в сознании тайной своей гениальности, вдруг — прозрел. Или вот так акционер разорившегося предприятия стоит перед сейфом, до отказа набитым — отныне макулатурой (Его сейчас уже, верно, все зовут Владимиром Абрамовичем, а я помню, как подростком, прочитав в моем «Брокгаузе», что по одной версии (впрочем, опровергнутой) русские евреи не семиты, а персы, перешедшие в иудаизм, он без тени шутки или позы сказал своим высоким картавым голосом: «Я бы покончил с собой, если б выяснилось, что я — не еврей». Но, кстати, бывало, когда внезапно открывавшееся еврейство приводило так-таки к самоубийствам).

Несмотря на то, что я себе позволяю, когда заходит речь о евреях, национальное чувство во мне не просто мощное и позитивное, оно, возможно, основа моего существования. Поэтому, если бы кому-то взбрело на ум попрекать меня отдельными суждениями, касающимися еврейства, я бы тут же отрезал: «Я — само еврейство, о себе вправе говорить, что хочу, это мое дело!» У *моих*, например, не было причин особо беспокоиться, как бы я не втрескался по уши в какую-нибудь русскую. Я говорил и повторяю: влюбиться в нееврейку — в чужое, из чужого теста вылепленное существо, с чужими глазами — я не мог, исключалось. А что жениться нужно только

* Да и что такое «Израиль» как не борющийся с Богом

по любви — в подобных наставлениях родители, обычно, не очень-то усердствуют. Вот и вышло...

Отрицать любовь мне, перенесшему ее в весьма острой форме, было нелепо. Как же я объясняю это чувство в свете уже сказанного, отношу его к явлениям «фашизма» или «наоборот»? Что *любовь бывает только платоническая, остальное — вавилонская блудница*, мне, по крайней мере, было ясно всегда. Чистая юношеская любовь, тайная безнадежная любовь калеки, рыцарское, неоскверненное задней мыслью, поклонение бойца с седою головой — катарсический, возвышенный, даже религиозный характер этого чувства бесспорен, сколь бесспорна и его нешуточность. И пускай житейские практики видят в нем блажь, глупость, инфантильную придурь, ветрянку души — одним словом, вещь несерьезную, но чреватую бытовыми осложнениями; заметим, что к ревности тот же житейский практицизм относится с почтительным



сочувствием, ее он по плечу так не похлопывает. Тем не менее любовь пленена полом и, хотя в момент первых излияний исполнена корявой нежности (Ерошка-бабочка), исходит слезами умиления, скорей унимающими подлый зуд, нежели наоборот, это — ловушка. При такой телесной сопряженности дьявол не может долго оставаться не востребуемым, и вот... «Ну скажи по совести, разве на финише бессмертному Ромео уже не все равно, за кого цепляться и если по воле случая в эту секунду в лицо ему задышит вдруг обалдевшая кормилица, а бедняшка Юлия, отброшенная в сторону, будет заливать слезами, разве он...э-э... натянет поводья?»* Поэтому неясно, любовь — союзник Бога или Дьявола в их схватке.

Мой взгляд на это с годами претерпел изменения, многие мои взгляды с годами, наверное, так или иначе менялись, хотя традиционной и не становились, просто теряли свою экстравагантность. Образчик таковой? Я долго симпатизировал (умозрительно) гомосексуализму, его духовная благотворность подтверждалась массой примеров, но главное — он бросал вызов гетеросексуальному совокуплению, то есть бил в самое яблочко зла. То-то фашистские режимы (и души) не терпят полового отступничества. Позднее понял: неправ, половое извращение ведет к гипертрофии полового чувства. Зато с любовью все иначе, только сейчас (признаюсь в этом) мне стало ясно, что любовь — это не Люба, партизанка, действующая по заданию низа в небесных селениях. Я ведь как считал: функция любви пудрить грязь**), что все равно нереально, ибо уже раз переспать с возлюбленной — *заспать* любовь. Следовательно, если б с Наташей я «улегся у коечку», тогда влюбленность мою как рукой бы сняло. Не знаю, этого не проверишь. Знаю, однако, другое: а *все же* любовь — не от лукавого, скорей, это защитная реакция духа. Вечная женственность — атрибут гностического, а не фашистского сознания. Но только смирившегося с непобедимостью времени, не бунтарского.

Как в воронке смерча меня вертело тогда: отгремела Наташа, утилась «Атлантида», что-то читалось (с одной лишь мыслью: у всех так). Грязь политическая, грязь телесная — и глупость, ничего иного глаз не различал. «Свиные рыла». В Ленинграде их было не то что меньше, чем в утренней, хронически невысыпающей Москве, бредущей куда-то затемно совершенствовать свои скрипично-фортепианные пассажи, что, вырываясь из всех окон консерватории, сливаются в романтический, может быть, для кого-то гам. Нет, но в Ленинграде был еще, помимо этих свиных рыл, сам Ленинград, чем Москва похвастаться не могла, а если какой патриот советской столицы возразит, что в Москве зато была Москва — опущу углы рта в недоумении.

* «О теле и духе».

** Там же.

Едва истек срок траура по «Атлантиде», длившегося год, как Такойтович принялся за свой «Фашизм», свободное от работы время проводя в благородном до отрыжки собрании — лабухов, олухов, лопухов, облачавшихся по временам во фраки. Некое кафе «на стоечку», что помещалось на облепленном проститутками углу, вызывало то чувство, которое только и может вызывать в человеке, принимающем ежедневно душ, человек, не моющийся неделями. Значит, андерграунд отпадал (к тому же все они были глухими тетерями). Из какого-то орнитологического интереса я поддерживал знакомство с вольным кочегаром Виктошей, который отапливал дом, где жила тетечка Розочка — ее я навещал в обществе либо одной страшно уродливой парикмахерши, либо совсем юной особы, каких поздней нарекли «лимита», имевшей все основания, подобно Паниковскому, мечтать о золотой челюсти. Что бы еще сказать о ней? Она говорила «свиданки», в то время как ее напарница из парикмахерской могла сказать «на стоечку» — когда, например, однажды тетечки Розы не оказалось дома и мы остались стоять на лестнице. «Ну что ж, — вздохнула она, расстегивая пальто, — ничего не поделаешь, придется на стоечку!!» Тогда-то я и познакомился с Виктошей, проявившем «понимание ситуации» и открывшем перед нами двери своей котельной.

«Фашизм и наоборот», писавшийся с большим скрипом (я писал еще зверски скрипучим пером), субъективно не был женоненавистнической вещью, но объективно так получалось. Чего стоит высказывание, что «женщина не может быть феминисткой по определению: женщина-бабница есть явление патологическое также и в политике. Расщепление человечества на мужской и женский пол действительно есть чудовищная несправедливость, то самое «безобразье в природе», благодаря которому вдвое уменьшается духовный и творческий потенциал рода человеческого. Но для женщины-то как раз это и непостижимо. Женщина не в силах понять, что истинная причина той чудовищной несправедливости, примерами которой она угощает вас как радушная хозяйка, в ней самой, в безобразии ее *состава*. Понять это может только мужчина, от сотворения мира он — феминист, понять и помочь.» В те годы шел американский фильм «Пожнешь бурю» («Inherit the wind» by Stanley Kramer). Я посмотрел его раз двадцать — мы же как сумасшедшие бегали тогда в кино. И вот там великий американский гуманист и адвокат Генри Драмонд с величайшим пафосом восклицает, обращаясь к воображаемой собеседнице, в реальности же к суду присяжных — одна только мысль, что где-то в мире есть суд присяжных, вызывала слезы на глазах: «Мадам, вы требуете избирательного права для женщин? Прекрасно! Но в таком случае вы навсегда лишитесь права прятаться за свою пуховку». Я переиграл эти слова у себя : прекрасно, но в таком случае вы лишитесь своих материнских прав. А еще несколькими строками ниже читатель мог бы прочитать следующее: «Если мужчин можно делить на

фашистов и на антифашистов, то к женщинам это разделение неприемлемо. Они — сам фашизм»

Представляю себе физиономию Виктоши, если б этим читателем был он — да еще в свете обстоятельств нашего знакомства. «Старик, да у тебя же, ... мать, бабы-то какие, страх Божий. Вот ты их и ненавидишь лютой ненавистью. Я бы таких вообще убивал. Женщина, она ведь должна быть...» — и начались бы мечты вслух, наподобие тех, каким предается гашековский Балон, рисуя в воображении картины домашних трапез.

Но Виктоша не был посвящен в тайну моего писательства. Я дорожил статусом артиста — скрипача во фраке — что давало мне определенные привилегии, коих я бы тотчас лишился, признайся в общей с ним, и со многими другими в России, страсти — писать. А так, как музыкант, я имел право не разбираться во множестве вещей, в первую очередь, конечно, в поэзии. Это сильно упростило наши отношения. В противном случае мне бы пришлось выступать в роли вечного слушателя его стихов (Кабы еще читателя! Но они обожают акынствовать.). Я честно сказал, что в поэзии не смыслю ни бельмеса, русские поэты — певцы, слагающие песни (Виктоша не спорил, он не без удовольствия кивнул), я же сызмальства приучен внимать звукам иной лиры, в свою очередь ему недоступной — допустим, я сейчас бы начал разыгрывать здесь, перед ним, партиты Баха. Это был аргумент, перспектива стать слушателем партит Баха его утратила.

Я нередко залетал к нему после концерта, значит, во фраке, со скрипкой. Он ставил на что-то, лишь по совместительству являвшееся столом, чекушку (такое неровное, голубоватое «с поволокой» стекло встречалось мне только в России), брал граненые стаканы, «соображал» закуску.

— Ну, всколыхнем по лампадочке. Во-о грибочки у меня сегодня, первый сорт! На святую Варвару грибочки едят, не знали, что ли? Дождливая Варвара... ну, со свиданьем... грибов на Варварин день видимо-невидимо. Неужто не знал? Ну и темнота. А чего лабали-то сегодня? «Сотворение мира», говоришь? Любо, любо...

Коль скоро за удовольствие читать стихи пришлось бы расплачиваться слушанием «партиты», Виктоша в общении со мной стихотворцем себя не очень выставлял. Говорили о «женской лукавой любви» — больше он, меньше я. И то я, обычно, вопрошал, а он отвечал. У него была круглая, несколько актерская физиономия, которую ничего не стоило вмонтировать в какой-нибудь кадр из «Александра Невского». Он даже голову иногда обвязывал веревочкой, но не под Виниту, как это делали хиппи, а по аналогии с эйзенштейновским новгородцем. Не знаю, в каком лагере сегодня Виктор,* тогда слово «еврей» произносилось им легко, без опаски быть заподозренным в антисемитизме.

* [Сноска: Звездой поэтического андерграунда он, как видим, не стал. Возможно, не ту столицу избрал, а верней всего, не то лопритще. Это был тип живописца, искусного мастерового],

— Один кадр имелся у меня, это, значит, ещё в Харькове было — преподавательница из музыкального училища. Не на скрипке играла, а на этом самом, на альтухесе. Ее муж чего-то там тоже преподавал — мудак страшный, хоть и еврей.

— И она еврейка?

— И она. Что ты думаешь — только русские бабы блядут? Нет, мой милый, хочу тебя разочаровать. В этом пункте все нации равны. Еврейки просто лучше скрывать умеют — тоже, тоже не обольщайся, не потому что такие умные. Нашим бабам терять нечего — что муж есть, что мужа нет. Плевать, если он и узнает. А жили б как еврейки, в уате да в холе, такая б пошла конспирация — комар бы носу не подточил.

— И что, все жены изменяют?

— Тот же процент, что и проголосовавших на выборах в Верховный Совет. Мне не даст, другому даст — кому-то даст обязательно. И потом в нашем деле надо настойчивость проявить. Настойчивость, сыне, это главное, любая крепость тогда сдается. Скейские ворота отверзаются и ...

— А если она любит своего мужа?

— Ну и что? Она его очень даже любит, в огонь и воду за него пойдет, а бараться будет с Виктошей. И не с одним Виктошей. Ей, может, самоутвердиться надо — у всех, понимаешь, есть любовник, а у нее чтоб не было? Да причин, чтоб баба мужу *сваму* изменяла — их, знаешь, тысяча и одна ночь.

— Ну, например...

— Например? Ну, элементарно, это когда благоверный не удовлетворяет... или, не знаю, там слишком ласковый, а ей брутальности охота, чтоб насилывал ее, чтоб по заднице отхлестал. Или мужу назло. Тот ей: в пятнадцать два нуля чтоб дома была, а она себе думает: ладно, буду дома, как ты хочешь, но уж до этого — не обессудь. И звонить к Витечке. Или супруга с кем-то своего подловила — это верняк, что побежит шпокаться с первым поперечным. А вот интересный случай в моей практике. Поженились в семнадцать лет, и он давно ей друг, товарищ и брат. Остальное — чистая механика, второй закон Ньютона. Об своего мужа она вроде как дрожит. Естественно, ей хочется чего-то другого. Такие, ух! влюбляются. Но мужа не оставит никогда. Да много, много у нас возможностей первейшую-то заповедь, ближнего своего возлюбить. Вот чувая: и муж есть, и постоянный любовник есть, а она и к Виктоше приходит, и еще небось к кому-то. Причем на фиг ей это не надо, уж можешь мне поверить. Просто девушка независимости хочет — и от мужа, и от любовника. А то, бывает, попадаются с мужской психологией — хотят разнообразия. Это, правда, последние эммансипухи.

Виктоша — враг женской эммансипации: «Суки, они же все как одна идут в редакторши. Я бы им зашивал». — А бывает, — продолжает Виктоша, — ты с чувихой, и это ее первая измена. Для нее это более сильное

ощущение, чем потеря невинности. Ну, тут уж, Господи, спаси и помилуй раба твоего многогрешного и укрепи его на путях славы Твоей. Аминь. (крестится). Ибо знаешь, каково это, когда деваха, кончая в седьмой раз, говорит: *спасибо тебе, Витя*.

— Послушай, а ты малость не того, не кощунствуешь?

— Фарисей. С фарисеями на том свете будут кратки и немилосердны... Разве что замолвлю за тебя словечко.

— *Спасибо тебе, Витя*.

— Фарисей! Когда такие, как ты, приволокли к Спасителю бабу, которую муж застукал — что Он им сказал?

— Я знаю, я в Русском музее тоже был.

— Ни фиги. «Кто без греха» — это журналисты сочинили, вот в печать и попало. А вообще-то Он сказал совсем другое. Он их выслушал и говорит: «Хороший левак укрепляет брак».

Это был *собираТЕЛЬНЫЙ* диалог, таких у нас велось предостаточно. Измена, ревность... Мой друг просвещал меня в данном направлении — каковое всегда задавал я разговору (заметим, Виктоша был старше вашего покорного слуги этак на полпоколения).

— Послушай, чадо мое возлюбленное, ты чего, решил откушать, вкусить то бишь, священных радостей супружества? Умный муж тот, кто предпочитает ничего не видеть и не слышать. А чтоб снижения самооценки не произошло, сам трахай все, что шевелится, особенно замужних.

Снижение самооценки — так определил он ревность, лекарством от нее считая вышесказанное уже (то есть постоянно, неуклонно и неусыпно самому следует давать основания для ревности). И если определение Виктошино верно, то ничего логичнее быть не может.

— Я всегда считал ревность самым отвратительным чувством, рабым и поработающим. Ах-ах, голова болит — у него уже подозрения. Наоборот, легла по первому требованию — он ее трахает и, как Отелло, задушить готов: представляет, как она с другим тем же самым занималась. Некоторых это даже возбуждает. Измена не прощается и не забывается никогда. Ревность как вино — чем выдержанней, тем крепче. Потому что кто изменял — его как бы уже и нету. Человек ведь обновляется постоянно. Помнишь у Чичибабина... э... та-та чего-то

каждый миг

В тебе кончает жизнь старик

Родившийся мгновеньем раньше.

Некому мстить. Ее уже нет, той, что тебе изменяла. А потребность в мщении остается. Многие женщины отлично это понимают. Потому назад к мужу — ни за какие посулы, ни за какие мольбы, ни за что! Хотя бы в душе и хотели. Знают: намучаются. Когда из твоей тарелки еще кто-то ел, прощения не бывает. Только если...

— Что только если?

— Только если сам с усам. Чувство вины, которую каждый твердо знает лишь за собой — оно супругов друг дружке вновь притягивает, и сразу глазенки блестят...

Таков Виктоша — православный Казанова. Не Дон Жуан, именно Казанова, это разные персонажи.

— Учись, пока я жив, — он наливает еще по четвертушке граненого стаканчика. — Слушай сведующего человека, и будут у тебя полные штаны счастья. Я, деточка, о твоём благе пекусь.

— *Спасибо тебе, Витя.*

Ну как было же захаживать к этому душеведцу — которого, разумеется, я всерьез не принимал, но слушал с охотой. Весело. Я-то знал природу ревности, ибо постиг природу любви: любовь — это защитная реакция духа, его санитарный кордон. Стал бы я ревновать парикмахерш или лимитчиц? *Сестра моя, невеста* (виктоши, вероятно, слабо понимают, что это такое). *Сестра моя, невеста*, которой я открыл свой позор, свой срам. Исповедница моего греха. Искупающая его своей телесностью, берущая его на себя. Мы оба под паранджю. Ну, кто это признавался: «У меня всегда было странное чувство неловкости, когда я смотрел на мужа и жену, как будто бы я подсмотрел что-то, что мне не следует знать». И вдруг под паранджой завелся третий, лазутчик. Моя тайна разгадана. *Сестра моя, невеста*, что ты наделала? Ты выдала меня, выдала нас. Отныне осквернены мы оба, это безвозвратно. Конечно, можно сказать, что «в ревности есть инстинкт собственности и господства, но в состоянии унижения» (*Бердяев*). Или что страдание, вызванное *понижением самооценки*, зовется ревностью (*Виктоша*). Но тогда оборотной стороной ревности предстает (не только у Виктоши, но и у Бердяева) самодовольство самца. Ревность — парная категория, и, выходит, вот с чем она в паре, отнюдь не с любовью. Так послушайте, послушайте же Такоговича. Ревность — проявление в человеке Божественного, одна из прерогатив Бога, быть может, раньше всего отвоёванная человеком. Есть манера — ревнивцев осмеивать, но этот смех нечестив и полон богохульства. Кто смеется над рогносомцем — взгляните на эту чернь, на какой бы социальной ступеньке она не обреталась. Общество интуитивно всегда это чувствовало, что отражено даже, если угодно, в законодательствах всего мира: преступление, совершенное из ревности, встречает сочувствие суда... Судьи знают: и без того дух казнится ревностью, сокрушаясь о заведомо невозможном — об иллюзорной поддержке «низа», которой в реальности нет и не было. Ревность — это по большому счету зависть высшей формы бытия к низшей (при заведомой неспособности первой на самопредательство), бога — к человеку, человека — к зверю. Неудивительно, что «на стадии человека» ревность носит половой характер.

Олег Юрьев

Траур по китайской императрице

Выходя в половине первого ночи со двора знаменитой руины на Пушкинской улице 10, — скваттерского дома, захваченного полумифическим авангардным театром «Данет» (о существовании которого мы отвечаем по Зиновьеву утвердительно: «Да, его нет»), мрачными художниками, деловитыми музыкантами и какими-то полукультурными офисами с неизвестными политической географии подданствами, я еще издали вижу в проеме подворотни некую странную тень наподобие смерти с косой. Острая тень, косо лежащая на асфальте — как бы тень от тени — размеренно совершает полукруговые движения, вроде как действительно косит. Делать нечего, выход со двора только один, но — слава Богу, никакой мистики. Тень сию старательно отбрасывает некий доходяга с метлой (и с косой, конечно, но на затылке — с таким бывшим геральдическим колосом, торчащим сзади из-под проеденной ядовитым фонарным свечением коленкоровой шляпы). Доходяга усердно подметает заповеданный ему участок тротуара. Почему с таким тщанием и почему в такое время — остается мне вовеки неизвестным, но факт сомнению не подлежит: по Петербургу метут во все концы и во все пределы, аж пыль столбом стоит.

За город взялись. Кто и с какой целью — другой вопрос, но очаги ремонтно-уборочного бурления множатся. Крапы кивают и поворачиваются, бабы ухают о стены, по лесам топчут пролетарии. Это, конечно, в центре и на объектах, так сказать, частно-капиталистического значения. В общественном секторе все как и прежде, то есть все происходит, но не то чтобы очень. Да и народонаселение вроде как побурливает. Куда только подевалась привычная советская вялость, замороженная походочка, уставленные в одну точку тухловатые глаза? Вроде как подтверждая примитивистские теории «новых правых» про волшебную силу рынка и все такое, народонаселение шустрит по киоскам — где бы чего купить и где бы чего продать. Три дня мне встречается на Невском проспекте девушка в пестрой кофте и болотных сапогах до пупа — в какое бы окошечко я не всунулся со скромной своей потребностью в пачке

«Беломора», всюду она нетерпеливо теснит меня утлым плечиком и протягивает на ошпаренной ладони маленькую стеклянную уточку: «Не возьмете, хозяйка, десяточек, по две тысячи?» «Хозяйка», сонный кавказец с семью усами, сообщает, что должен узнать насчет уточек у атамана.

Вообще, на фоне капиталистического энтузиазма простого человека мафиозные структуры производят впечатления чего-то косного, бюрократического, несправимо совдепского. Если рассматривать мафию как производственное отношение, то она явно не поспевает за производительными силами. Ну что же это такое, справляться в Грозном, покупать ли уточек у бедной девушки! Да еще и новых лимитчиков полный город навезли. Понятное дело, каждый ларек требует минимум двух из Тамбова, чтоб его охранять, двух из Ростова, чтоб на них нападать и одного из Казани, чтобы их рассуждать по блатной справедливости. Итого минимум пять человек — вот и считайте. Но с другой-то стороны ясно, что все это не что иное, как «трудности переходного периода», по доброму российскому обыкновению.

Вот расселят старушек из коммуналок (куда — сами знаете), покрасят фасады веселенькими красками, пооткрывают магазинов и позакрывают ларьков, короче, заселят Петербург новым хозяйским классом — и отправят всех этих, в шароварах обратно, откуда взяли для настоящей надобности — в тамбовские и люберецкие детдома для дебилов. И наступят в нашем любезном граде Петровом чистота и порядок, европейское роскошество и американская деловитость. А наши с вами неумытые хари из новостроек в центр только по предъявлению пропуска, чтоб не смущали ихних дочек-барышень, когда они из Кембриджа приезжают, с зонтиком в Летнем саду прогуляться. И снова будет золотой век. А потом серебряный. А потом известно что. А пока...

«Как Вы нашли город?» — осторожно спрашивают меня сквозь телефонное шурушание три с лишнем года невиденные знакомые.

Найти было как раз несложно. Меня просто привез аэрофлотовский лайнер, как положено белоснежный, но как бы обведенный по контурам — внешним и внутренним — осторожной каемочкой грязи.

Город-то не изменился, во всяком случае, хуже не стал. Быть может, даже лучше — кое-где уже по фасадам подчищенный, подкрашенный, подштопанный. Но — обведенный по контурам — внешним и внутренним, осторожной каемочкой грязи. Она же — и у меня под ногтями: то, что в детстве иронически именовалось «трауром по китайской императрице» и рекомендовалось вычищать с помощью жесткой короткошерстной щеточки. В России эта черно-бурая супесь заползает под ногти вдесятеро быстрее, чем где бы то ни было из известных мне мест. Впрочем, в России я еще не был и не знаю, собираюсь ли ехать. Пока я — как это теперь называется (а почему, собственно, и нет?) — в Петербурге.

Что ж, Петербург, см. выше, вполне в пристойном состоянии — в легком трауре, так сказать, — но другим я его никогда и не видел, даже когда он был Ленинградом. Можно приехать и с ходу жить дальше, попав в свой собственный шаг, зависший над Колокольной улицей три с лишнем года назад. Единственное же, что меня почти всерьез беспокоит

— не как частного жителя, а как литератора, пишущего по-русски — так это вышеназванный язык, по естественной причине неудержимо журчащий вокруг. Как мне кажется, писателю вредно все время слышать вокруг себя тот язык, на котором он пишет. В юности — если кому повезет — бывает, еще удается бессознательно отгородить себя от речевого мусора улицы, слушать его как не слыша — но просеивая. Заграница предоставляет на некоторое время (пока заграничную мову не выучишь) природную защиту от выводящих из необходимого равновесия глупости и скуки, всегда связанных с речеотделением улицы, газеты и телевизора — но что потом, после того, как выучишь? Следующая заграница, заграница в степени $n+1$? Вечное бегство от родного языка? Однако же, это другая тема — пока что в уши ко мне лезет даже не привычная «полудскопская» скороговорка ленинградского простонародья, а торжествующий свою победу над этим городом некий усредненнороссийский, как бы какой-то курско-уральский диалект, полностью отличный и от грамотной, и от неграмотной здешней речи. Прежней? Привлеченный по инерции хронотоп вряд ли уместен. Не думаю, что за три с лишним года возникло нечто новое, небывалое. Так говорили и раньше, и даже известно кто и где: московские лимитчицы синтезировали в семидесятых-восьмидесятых годах эту резко припадающую мелодику, эту мокро придыхающую фонетику, этот телеграфно-междометный синтаксис. Ленинградский же неряшливый говор не исчез — он звучит в «новостройках», как и раньше, но в центре явственно заглушается лимитчицкой телеграфною песнею обоего пола, прерываемой, как неким устным телеграфным значком, загадочным междометием «короч». Короче-то некуда.

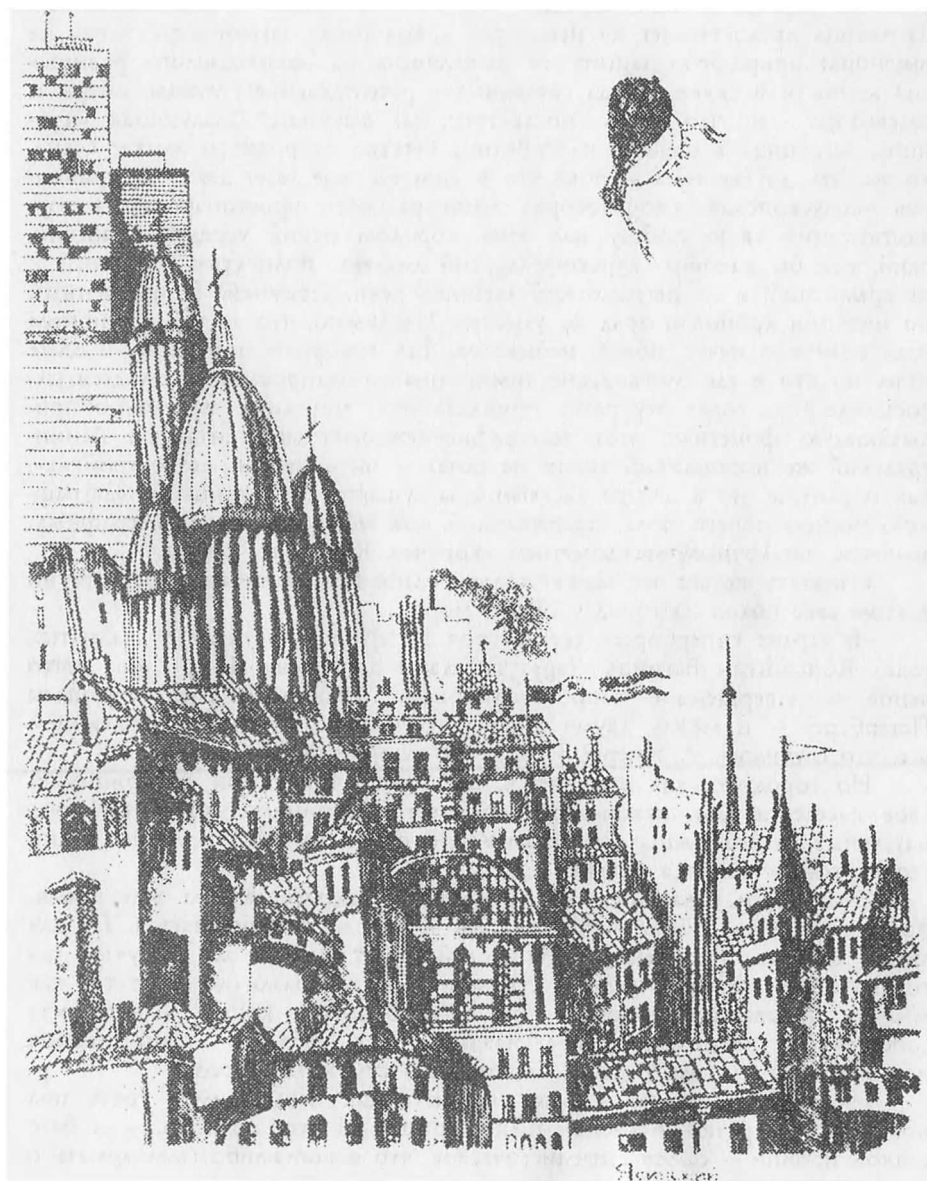
Означать же все это может только одно: Россия начала своей третий в этом веке поход на город у серого моря.

«В стране гипербореев есть остров Петербург», — сказал в двадцатых годах Константин Вагинов. Через пятьдесят лет Елена Шварц как **нечто** ясное и завершенное запротоколировала: «Давно Россию затоплен Петербург» — и между двумя этими строчками очевидным умолчанием все, что случилось. А теперь? Затопление затопленного?

Но городу-то, как выясняется, все равно. Боюсь, он воспринимает свое население, как какой-нибудь бегемот воспринимал бы некий род накомных и подкожных насекомых. Не очень мучают, и ладно. Одни стряхнутся — появятся другие.

Этот город, оказалось, **не** интересуется людьми, в нем живущими, предоставляя им собою **интересоваться** — или не интересоваться. Не для людей он был построен, не для людей живет, а если их и мучит, так только своим безразличием. В сущности, ему безразлично даже то, как мы его называем — вероятно, как у элиотовских кошек, у него есть собственное, невыговариваемое название для себя — а мы можем изгаляться, как хотим. В этом смысле он — гуманный город.

Или сказать иначе? — Мы для него, как невыводимая грязь под ногтями, «траур по китайской императрице». И это, пожалуй, — и безо всякой иронии — самое оптимистическое, что я когда-либо смел думать о нем — да и о нас.



Андрей Анпилов

Улыбка

Когда мы получим сполна по делам,
и веры не станет убитым словам,
и сердце промерзнет до самого дна —
над нами воскреснет улыбка одна.
Улыбка одна, что короче строки,
и музыки тише, и легче вина...
Мы жизнь проворонили, как дураки,
вот нам и осталась улыбка одна.

А новая юность, вломившись в окно,
уже из последнего ряда свистит.
И ты суетишься, не ведая, кто
тебя напоследок хотя бы простит
за бедные выдумки, мирную смерть,
за то, что не жалко и жизни самой...
Но все, что решились мы в жизни посметь,
ей Богу же стоит улыбки одной.

И вот, натолкавшись за день в тесноте
и ночью домой пробираясь сквозь снег,
увидишь улыбку — звезду в темноте —
окно, за которым спасенье и смех.
Туда не возьмешь ни крупинки с собой,
и ты, оглянувшись, как водится ввысь,
плечами пожми над нелепой судьбой
да разве что сам над собой улыбнись.



Через мокрые ресницы
мне зима такая снится —
тают коркой ледяной
рукавички шерстяные,
светляки плывут ночные
между мною и Москвой.

Пятьдесят-какой-то тихий
год на улице Палихе.
Это — Зуевский каток —
снег счастливый серебрится,
на коньках летит сестрица,
и у сердца холодок.

Там прохожие толпятся
у гирлянд иллюминаций.
Музыкантов полукруг
горячит нас и морочит
новогодней синей ночью
в оцеплении разлук.

В этом сне, как в старой песне,
я с отцом гуляю вместе,
проходя по снегу ввысь.
Нам и плачется, и снится,
и нельзя наговориться,
невозможно глянуть вниз.



Сыну

Долги меня сживут со свету
или ударит в сердце нож —
по непротопанному следу
свою дорогу ты найдешь.
Возьмут тебя чужие люди,
а я поеду к Богу в рай.
Жена забудет, друг забудет.
И ты меня не вспоминай.

О ты, кто мне всего дороже,
я обещаю наяву —
ничем тебя не потревожу,
вернувшись в небо и траву.
Ни городскими голосами,
ни жаром, тающим в золе —
твоей улыбкой и глазами
я снова буду на земле.

Плачь у разбитого корыта,
люби друзей, гляди в окно.
Ты будешь книгою открытой,
я лягу строчкою на дно.
А если время все отнимет,
сотрет движением одним,
я буду жить еще как имя
в теги за именем твоим.



Леонид
Межибовский

**Окончание
спектакля**

Виктор Иванович Гданьский, театральный критик, знакомый мне по десятку газетных публикаций, скучал в третьем ряду партера. Среди театралов он почитался профессионалом, занятия его требовали известной привычки к скуке, и потому скучал он тоже профессионально. Говоря проще, он дремал.

Виктор Иванович знал, когда нужно ему просыпаться. Не перед антрактом, чтобы поспешить в буфет за бутербродом с подозрительной котлеткой и стаканом пресного сока. И не перед концом спектакля, чтобы быстро скользнуть в гардероб за своим недавно пошитым демисезонным пальто. (Спешки он не выносил.) Просыпаться, по мнению Виктора Ивановича, следовало лишь перед кульминационным моментом спектакля.

Пьесу, еще не напечатанную, но уже на скорую руку поставленную, Виктор Иванович прочитал накануне, благо с автором — модным драматургом Пологим — он был в отношениях коротких.

Первый акт, как определил Виктор Иванович при чтении, не сулил ничего захватывающего. Члены последнего Временного правительства монотонно обсуждали итоги деятельности его за два месяца. (Виктор Иванович принял было считать министров, но на шестом заснул.) Действие чуть оживилось, когда Керенский прервал доклад министра земледелия Маслово. Куда больше, чем крестьянские дела, премьера беспокоило немецкое наступление, в котором он без наигранного театрального пафоса он винил военного министра Верховского. Тот вяло защищался, поминая бездарность командования на фронтах и погодные условия в тылу. Их препирательству конец положил остроумец министр почт и телеграфа Никитин, шутки ради предложивший послать в подполье запрос Ленину, чтобы он высказался о возможности переворота. Керенский брезгливо поморщился. На что автор произвел неожиданный (но, мне кажется, не самый сильный) ход. Каждый из членов правительства представил вместо себя одного из видных большевиков. Лениным естественно же по неприхотливой мысли Пологового оказался Керенский. Троцкого взял на себя министр иностранных дел Терещенко — господин по виду из сибаритов. Свердлова разыграл человек ничем не примечательный — Гвоздев, министр труда. Кому долженствовало стать Зиновьевым, Каменевым и Сталиным, Виктор Иванович успел позабыть, а узнать по ходу действия сейчас не мог, так как (об этом сказано выше) спал. Большевики не оценили опасной шутки Никитина и не произнесли о перевороте ни слова. Они пустились в рассуждения о задуманных ими проектах мира и наделения крестьян землей, после чего заговорили о национализации банков и промышленных предприятий. Когда это надоело и публике, любопытной пока только до восстания, и министрам, чьи полномочия по воле автора столь беспардонно были узурпированы, власть снова принял Керенский и заявил: «Нет!», имея ввиду анархию, поражение в войне, голод и обесценивание денег. Засим последовал антракт.

Виктор Иванович к тому времени так разомлел, что не нашел в себе сил подняться и пройти по фойе. Когда же перерыв закончился, он даже громко всхрапнул, но звонок заглушил его, подавив благопристойный ужас соседа-провинциала.

Во втором акте Виктор Иванович ожидал большей динамичности действия. Ибо к членам правительства присоединилось военное командование и минут двадцать они энергично предлагали меры, потребные для предотвра-

щения смуты — большевики деликатно умолчали о ней — грозившей захлестнуть просторы недавней империи. (Виктор Иванович выслушал две-три реплики, потом его взгляд скользнул по трафаретному лозунгу над сценой и угас под веками.) И здесь не обошлось без сюрприза. Едва дискуссия достигла накала (как в ранних эдисоновых опытах с лампочкой — слабого), Керенский вновь изобразил приглянувшегося ему чем-то Ленина и возопил о мире и прекращении кровопролития любой ценой, не исключая возможности полностью поступиться национальной гордостью велико-, мало- и белороссов и частично территорией эстов, ляхов и молдаван. (Интересы и чаяния узбеков, нивхов и кавказцев заботили Ленина почему-то значительно больше.) Решительным взмахом руки (после зафиксированным в монументах), казалось, закончит он свой патриотический порыв. Но не закончил. Потому что все остальные министры остались сами собою, что требовало изрядного мужества, и, очутившись в явном меньшинстве (неподходящем для роли большевика), Ленин ступешался и уступил место обратно премьер-министру.

Все эта болтовня, все эти простенькие фокусы Пологого нимапо не увлекали Виктора Ивановича, и он спокойно досмотрел свой сон, который опустим как не имеющий отношения к происходящему.

Но вскоре, по расчету Виктора Ивановича примерно за четверть часа до окончания, спектакль должен был вступить в кульминационную свою фазу. Через неприметную дверь в конце зрительного зала ворвутся солдаты и матросы, настроенные решительно и революционно, с гиком и посвистом (актер Колчагин будет восседать на крашеном вороном скауне) пронесутся мимо ошарашенной публики, захватят сцену и возьмут власть в свои мускулистые руки. А низложенное Временное правительство вкупе с военным командованием опять обратится большевистским руководством и рьяно пустится разоблачать контрреволюционные и антинародные замыслы недавних себя же и поведает о единственно верных, по их единственно верному мнению, путях спасения России. (Здесь, читая пьесу, Виктор Иванович содрогнулся, но лишь заметил Пологому, что, если актеры, исполняющие и членов обреченного правительства, и преуспевших большевиков, будут одними и теми же, то есть риск, что, играя вторых, они продемонстрируют не революционную убежденность, а истовость ренегатов. Пологий на то отвечал, что уверен, что зрителю надо доверять и он поймет как следует.) Коня — а Колчагин весьма упитан и лишь крупнопородистый конь выдержит его — новоявленные спасители пожертвуют великодушию в пользу голодающих. Впоследствии эта мера избавит от гибели лорда Галифакса — англичанина, который безрассудно отправился исследовать положение дел на Волге. И если бы не добрый тот конь, сгинуть бы ему в желудках волжан. Троцкий, правда, предложит приберечь коня («На то он и Троцкий», — подумал бы Виктор Иванович, когда бы не спал), мотивируя это тем, что съедение Галифакса можно было бы свалить на поволжских немцев, что вызовет очередной англо-германский конфликт, столь удобный для раздутья мирового пожара. Но никто не желал дуть на чужой огонь, и лорд Галифакс мог собираться в беспрепятственное путешествие. Таким образом, комбинация с жертвой коня — а шахматы большевики уважали за шахматные столики с поместительным двойным дном — не только вынудит Чемберлена послать благодарственную за спасение соотечественника телеграмму, что не только поддержит престиж юной власти, но и упредит возникновение каннибализма в степях злосчастной державы.

Итак, кульминация близилась и Виктор Иванович начал потихоньку просыпаться.

Уборщица **Нового малодраматического** Мария Филипповна, или как в театре ее называли вслед за заезжим гастролером-французом, мадам Маруся, кончила прибирать и теперь обходила здание, проверяя, все ли в порядке. Она заглянула в директорский кабинет, выровняла стулья перед огромным, как сцена, столом, поправила неровно висевший портрет К.Марло (лицо изображенного было немного перекошено, как будто великому классику показали великолепный экземпляр лондонской жабы), удовлетворенная содеянным, вынула из потайного шкафчика початую бутылку коньяка и отхлебнула немного, после чего степенно удалилась. Мадам Маруся спустилась в подвальные помещения, где кроме нее редко вообще кто бывал, безразлично прошла их пустоту, задержавшись, чтобы смахнуть пыль с рояля, неведомо как и зачем доживавшего здесь королевский свой век. Потом поднялась по щербатым ступенькам широкой, плохо освещенной лестницы и уперлась в дверь. Мадам Маруся приоткрыла ее и обнаружила перед собой темную массу зрительских затылков, а впереди — Керенского и прочих. Равнодушная к сценическому действию, считавшая, что должность ее сама по себе приобщает к искусству, мадам Маруся вернула дверь в прежнее положение, обтерла тряпкой бронзовую ручку и повернула было обратно, но вспомнила, что раньше всегда находила дверь запертой. Взбудораженная коньяком, она в сердцах помянула чью-то рассеянность, не без труда выудила из глубоченного кармана связку ключей и, отыскав нужный, замкнула дверь, абсолютно не ведая о назначенной ей в этот вечер исторической роли.

Пожалуй, настало время описать Виктора Ивановича Гданьского, потому что он открыл уже оба глаза, а ритм дыхания изменился и свидетельствует о том, что сны покинули нашего героя. (Кому интересно, как выглядит герой, когда он спит?) Разве что поклонникам Морфея. Но я забочусь не о них.) Ему за сорок, он невысок, изящен, одет в серый костюм (не оригинален), при галстуке (галстуки мне всегда казались неправильно понятым наследием влияния османских придворных манер, да вам виднее), глаза — голубые, нос — лицо (черты мелкие, подбородок узкий) было бы похоже на птичье, если б не маленький нос, найденный, вероятно, среди картофельных кустов, волосы цвета между желтым и серым — среднего и потому не совсем определенное. Что осталось? Да, уши. Наши критики питают к ним слабость. Чтобы их удовлетворить, скажем, что уши большие и оттопыренные, не только великоватые для головы, но и несоразмерные фигуре в целом. Таким в окуляры бинокля мы увидели бы Виктора Ивановича, окажись он на сцене. (Самые наблюдательные разглядели бы еще и прыщик на... Лоб не упоминали, но в комплекте он есть.) Пока же не будем его беспокоить и оставим в кресле партера, в котором доселе безмятежно он плыл по течению спектакля.

Но теперь он уже бодрствует. Он даже подергал головой, чтобы встряхнуться и не упустить ни малейшей детали из того, что вот-вот случится. Сейчас (все готово к тому) и произойдет то самое событие, которое Виктор Иванович терпеливо ждал вместе со всем угнетенным (впрочем, о том неподозревающим) народом.

...Солдаты и матросы, настроенные решительно и революционно запаздывали. Виктор Иванович расслышал какую-то непонятную возню в

конец зала (сколько он помнил, — в пьесе непредусмотренную), будто кто-то настырно ломился в дверь. Но за тем ровным счетом ничего существенного не последовало.

Виктор Иванович уловил недоумение, мелькнувшее на лице Александра Федоровича, и только. (Он пожалел, что в рецензии неуместным будет отметить его самообладание). Министры и военные ничем не выдавали замешательства от задержки себя с превращениями в большевиков и продолжали свои прежние речи. Растерянным выглядел только министр юстиции Малянтович, и Виктор Иванович подумал, что это типичное состояние меньшевика, если что-то идет не по плану.

...Спектакль закончился и Керенскому так и не удалось окончательно стать Лениным.

Несколько озадачило Виктор Ивановича то, что Ефрем Невзорский, режиссер, известный пошлым пристрастием к роскошным, аляловатым занавесам, на сей раз оставил сцену после ухода актеров открытой. Виктор Иванович усмотрел в этом намек, хотя намеки не были в манере прямоугольного Невзорского.

Виктор Иванович прошел в гардероб и сразу же попал в водоворотец очереди, в котором кружился обмен приятными впечатлениями от увиденного. Виктор Иванович решил, что справедливой была двусмысленная сентенция министра торговли Коновалова о том, что довольство происходит от незнания.

Внезапный сквозняк наполнил ветром парусные уши Виктора Ивановича и качнул его. Виктор Иванович схватился за мою руку, а вернув себе равновесие, извинился с виноватой улыбкой.

«Странно,— рассуждал сам с собой Виктор Иванович, ожидая, пока ему отдадут пальто, странно, что режиссер, видимо, уже в ходе спектакля отказался от такой выигрышной сцены, какую предполагал в финале Пологий, значит, он ничего не понял в пьесе. Или он побоялся показаться политически слишком смелым, сводя в сущности, в одном образе обоих председателей правительств. Но тогда пропадает весь предыдущий эффект (не «ах» какой сильный, конечно) от исполнения большевиков и их предшественников одними актерами».

Виктор Иванович, наконец, вышел на улицу, точнее, на площадку перед театром. Она вся была заставлена бутафорскими колоннами — видимо, в самом здании им не нашлось пристанища. Поха Виктор Иванович пробирался меж ними, кто-то тронул его за плечо. Обернувшись, он обнаружил Невзорского, который вопросительно смотрел на него. Виктор Иванович догадался, что он ждет его мнения.

— Но ведь, в сущности, ничего не произошло,— мягко сказал он. — Вы избавили спектакль от нерва, а взамен ничего не предложили. Выстрел оказался слишком холостым и оттого — беззвучным. Его как бы и не было. Но зато кресла у вас удобные, — добавил Виктор Иванович.

— Пожалуй, вы правы, — отвечал Невзорский. — Но в действие вмешалась сила непредусмотренная.

— Значит, предусмотрите ее в следующий раз. Может, это что-то исправит и даже улучшит. Жизни, что ли, добавьте, как посоветовал бы, ну, не знаю я, кто, но посоветовал бы...

Невзорский скрылся в колоннах.

Виктор Иванович любил булыжные мостовые, которых немного осталось, и сделал небольшой крюк, чтобы идти по таковой. Уже стемнело, но была светлой ночь и прозрачной, как бывает, когда небо чистое и ясное.

Виктор Иванович почти дошел до ампириного стиля дома, завершаемого мансардой, где он снимал комнату. И вдруг вспомнил он, что заболевший перед премьерой Пологий просил зайти его после спектакля. Виктор Иванович чувствовал сильную усталость, словно долго и напряженно и в результате напрасно ждал чего-то. И больше всего хотелось ему сейчас подняться к себе, забраться в старое, от старости качающееся кресло, включить голую без абажура настольную лампу, вытащить из кармана примятую газету... Но нежелание огорчить Пологого заставило Виктора Ивановича пренебречь перечисленными удовольствиями.

Идя вдоль Мойки, он сосредоточенно размышлял о том, что скажет Пологому. От спектакля Виктор Иванович не в восторге, это ясно, и обманывать автора, конечно, не следует. Но он болен. И сообщить ему так просто, что спектакль по его пьесе несуразен и неумен, казалось Виктору Ивановичу не очень-то удобным и даже невозможным. В конце концов, решил он выкрутиться тем, что сошлется на то, что режиссер много и неудачно переделал в финале. Выход не самый удачный, не говоря уже о честности, потому что Виктор Иванович прекрасно понимал: и пьеса-то — так себе пьеса.

Поглощенный противоречием между правдивостью и милосердием, Виктор Иванович вышел на Дворцовую в том месте, где река робко примыкает к площади. У ограды Зимнего он увидел толпу людей в солдатской и матросской форме. Они что-то обсуждали — довольно тихо для такой толпы и формы; потом разобрали бревна, заготовленные у Адмиралтейства для ремонта набережной; разделились на группы, которые рассредоточились вдоль решетки и усердно принялись пробивать ее. Она отзывалась глухим звоном и не поддавалась. Большая часть окон второго этажа дворца светилась, и в этом свечении (показалось Виктору Ивановичу) преобладали растерянность и страх. Он наблюдал за происходящим, стоя поодаль, и уже подумывал, что благоразумнее сейчас было бы вернуться к Мойке и проходными дворами выбираться на Невский. Но интересно — чем все завершится. Решетка кое-где уже проломлена, из окон выставлены винтовки — лока молчаливые.

С Миллионной выехал на крашеном вороном коне Колчагин — его встретили приветственным гулом. Он проскакал по площади, размахивая пистолетом и стреляя беспорядочно по дворцу. «Быть бы ему осторожнее, ненароком кого из своих же зацепит», — мысленно обратился к нему Виктор Иванович. Внезапно конь поднялся на дыбы, поворотил резко на месте: Колчагин удержался в седле, но от толчка дернул курок. Виктор Иванович заметил вспышку у него в руке и, ощутив легкое жжение в области живота, упал на милый его сердцу булыжник мостовой.

Когда, наконец, подошла карета скорой помощи — сквозь возникшую вскоре на площади сумятицу она пробралась лишь благодаря вмешательству Невзорского, руководившего приступом, — Виктор Иванович Гданьский был мертв.



Эрика Крюгер

Городишко оказался неказистым, скученным и низким.

Горожане были недалекими, хитроватыми и недоверчивыми.

Тони Шварцкопф промотал весь день на свои коммивояжерские дела и порядком устал.

Усилия его были бесплодны. О телефоне никто не желал и слушать — и без него здесь не испытывали проблемы по части коммуникации. Рекламы новейших моделей кофеварок и велосипедов удалось всучить лишь пастору и директору гимназии. Но по их равнодушным физиономиям Тони справедливо предположил, что они будут и дальше варить кофе в чайнике и ходить пешком.

К вечеру Тони Шварцкопф засел в вокзальном буфете. В запасе у него было несколько поездов, и он мог не спешить. Он заказал сосиски и пиво неповоротливому буфетчику. Достал из саквояжа ручку и карту, не без труда нашел на ней Гайбург и нарисовал жирный крест на нем. Напрасно занесла его сюда беспокойная судьба.

Получив заказ, Тони тщательно осмотрел посуду. Тарелка была отмечена врожденным пятнышком на фарфоровой поверхности, а по краю кружки тянулся след неотмытой губной помады. Тони брезгливо поморщился, наскоро съел сосиски и, наконец, прилачился к кружке там, где было относительно чисто — над ручкой, и шумно засопел, втягивая пиво.

Мысли насытившегося Тони Шварцкопфа приняли вполне непритязательное направление, а именно — он подумал о женщине. Буфет был пуст и Тони посмотрел в окно.

И женщина не заставила себя ждать.

Она сбежала с пешеходного перехода, поставленного над железнодорожными путями, и едва вскочила в дизель, как он тронулся.

Эрика Крюгер открыла дверь купе и заглянула туда. Пожилой господин кивнул ей и отгородился газетой, такса у ног его видела во сне чудесную котлету и ничто не могло отвлечь ее. Эрика заключила, что попутчики,

видимо, ненавязчивы, и уселась на свободную скамью. Достала из пакетика напудренную булочку, слизала пудру и убрала булочку обратно. Положение Эрики, которое она оценивала как романтическое, предписывало не злоупотреблять мучным.

Три года назад с Эрикой произошло невероятное для скучного Гайбурга приключение.

Однажды Эрика прогуливалась по садику возле церкви, как к ней подошел незнакомый молодой человек. Он был изящен, хорошо одет, а его пронзительные карие глаза и тонкие черные усики... Ах, что говорить! Мгновенно очаровал он бедную Эрику. Он представился Алоизом Крюгером, спросил Эрику о ее имени, которое она доверчиво и выложила, и затем стал путанно объяснять, что обстоятельства так сложились, выхода иного у него нет, и не оказала бы Эрика ему честь, потому что, право же, от того зависит вся его жизнь, одним словом, он боится показаться нескромным, но не могла бы Эрика, вернее, ее рука и сердце, но при том и она сама принадлежать ему. Для этого необходимо зайти с ним в храм — священник и свидетели ждут — и обвенчаться, а Эрику он клянется любить. В его предложении простодушная Эрика не нашла ничего странного. Ей показалось даже, что сначала любовью и лишь потом другими причинами, оставшимися, впрочем, неясными, Алоиз мотивировал свое желание. Одним словом, когда венчание совершилось, Алоиз Крюгер одарил Эрику благодарной улыбкой и своей фамилией.

Они направились было к выходу, но пастор задержал Эрику и завел разговор о ее кроликах, которые недавно чем-то переболели и прекратили плодиться. Алоиз же быстро вышел из кирхи, сел на предварительно спрятанный в кустах велосипед и исчез. Растерянная Эрика немного подождала новоприобретенного мужа и отправилась домой. По пути она встретила сына зеленщика — он сунул ей в руку записку и убежал. Алоиз уверял ее в любви и преданности, но обстоятельства требуют незамедлительного его отъезда. Конечно же, это страшно расстраивает его, но поступить иначе он не в силах. Эрика должна понять и постараться простить огорченного разлукою мужа. Обещание дать знать о себе завершало послание.

Эрика всплакнула, но в общем-то отнеслась к происшедшему довольно спокойно и сочла за лучшее ждать. К тому же, хозяйство требовало забот и не оставляло времени на переживания.

В городке недолго поболтали о необычном замужестве, но Эрика Крюгер держала себя так, как подобает женщине, чей супруг в отлучке, и толки вскоре сошли на нет.

И вот накануне Эрике принесли телеграмму. Алоиз назначал ей свиданье. Чтобы оно состоялось, Эрике следует сесть в предпоследний вагон поезда, отправляющегося в четверть седьмого, сойти на четвертой от конца маршрута остановке, и там он и встретит ее.

Эрика поправила прическу и подумала, что она-то совсем не изменилась за три года, а вот муж ее..., интересно, каков стал Алоиз? Может быть, он носит бакенбарды? (Для Эрики законодателем моды по части волосяного

покрова был эрц-герцог.) Обрадуется ли ей Алоиз? Хотя, раз он предлагает ей встречу, значит, обрадуется. И как долго продлится их свидание? Исчезнет ли он так же скоро, как тогда? Или он, предположим, поведет ее в ресторан, а потом... Вдруг он снял номер в отеле и они зайдут туда? А потом... Что потом? Эрике уже надоело думать и она устало зевнула. В мечтах о счастье Эрика не забиралась дальше чего-то кратковременного и не очень определенного.

— Эрика, дорогая, приехали, — сообщил Алоиз Крюгер, пригладил разлапистые в пол-лица бакенбарды, потряс жену за плечо и дернул за поводок таксу.

Эрика открыла глаза и грустно и признательно взглянула на Алоиза. Ее поразило, что впервые в подобных снах в образе героя ей привиделся, как это ни странно, ее собственный муж. (Уже давно он не изящен, не очарователен и не любим.) Но привычное отвращение сразу же вернулось к Эрике и она повела плечом, словно страхивая след от руки Алоиза. Он на ходу дочитывал газету и не заметил прискорбного для себя движения. Впрочем, ему было все равно.

Ольга Александровна заложила ленточкой немецкий роман, что случайно увязался с ней в пригородный поезд. (Пусть читатель будет благодарен за бойкий пересказ добрых двух его третей. Сейчас он основательно подзабыт и вряд ли кому попадется.) Ольга Александровна медленно продвигалась по течению его утомительного слога и не слишком-то занятого сюжета. В романе ее тронуло только то, что его героиня по описанию была внешне похожа на нее.

Ольга Александровна поднялась и вышла в тамбур.

Поезд остановился, двери разъехались и она ступила на перрон.

Перед нею мгновенно вырос незнакомый молодой человек.

— Эрика! Наконец-то! — закричал он.

Ольга Александровна обернулась, полагая, что за ней стоит женщина с таким редким для среднерусской возвышенности именем, но никого не было. Обращались, несомненно, к ней.

— Вы, наверно, ошиблись, — сказала она довольно любезно.

— Как!? Ты не узнаешь меня? — спросил он и смущенно улыбнулся.

— Нет, — уже менее любезно отвечала Ольга Александровна. — Вы незнакомы мне.

— Но разве ты не помнишь, как три года назад ты вышла за меня замуж? — чуть растерянно спросил он. Но нашелся и решительно сказал:

— Но тогда, почему ты здесь, как не потому, что получила мою телеграмму?

Он вплотную пододвинулся к Ольге Александровне и крепко взял ее руку повыше локтя.

— Вы путаете что-то, я ничего не получала. Но постойте, ваше лицо откуда-то знакомо мне, — сказала она.

— Это же я, Алоиз Крюгер, — мягко произнес он.

Ольга Александровна взгляделась в него внимательнее: эти пронзительные карие глаза, эти черные усики.., это же в самом деле тот человек, о котором она читала.

Она вырвала руку, сделала шаг назад и оказалась снова в тамбуре. Двери, будто ее поджидали, задвинулись, и лицо Алоиза злобно перекопилось за разделившим их стеклом.

Ольга Александровна вернулась в вагон, ее недавний сосед удивленно посмотрел на нее.

«Не может быть, это совпадение, случайность, — подумала она. — Точно такая же, как то, что я взяла с собой именно эту книгу».

В том месте, куда она направлялась и на пути к которому появился Алоиз, ее ожидали дела не очень важные, и она могла задержаться.

Чтобы успокоиться, Ольга Александровна раскрыла роман и снова погрузилась в сновидения добропорядочной бургерши Эрики Крюгер.

Отдадим должное сонливости и мечтательности Эрики — она умела и спать, и мечтать при малейшем к тому поводе. На сей раз она навещала приятельницу, пока Алоиз заходил на биржу и в банк, уселась крепко на диван, ту вызвали к телефону, и Эрика...

Обстоятельства, приведшие Алоиза Крюгера к скоропалительной женитьбе изложены в следующей части романа, И, соответственно, — затейливого сна Эрики.

Вкратце, они таковы.

Двоюродная бабушка Алоиза — старуха, по части ума которой существовали известные сомнения, — была весьма и весьма богата. Мирно завершая свой путь, она составила завещание, где просто и без обиняков говорилось, что все она отказывает дорогому внуку Алоизу. Лишь одно условие сопровождало наследство. Алоиз должен жениться на какой-нибудь девушке из Гайбурга, откуда старуха сама была родом. День — как раз три года назад — был выбран согласно расположению небесных тел. Им бабушка доверяла во всем. По ее мнению, и дата, и место рождения невесты гарантирует счастье Алоиза и приумножение его богатств. В случае неисполнения воли рехнувшейся бабки все было бы роздано бедным.

Теперь уже можно догадываться, почему Алоиз предпочел скромностью, а не соблазном богатства, покорить Эрику.

Итак, Алоиз выполнил условие. А Эрика, того не ведая, кроме сердца своего и руки принесла ему немалое состояние. Но приобретение жены не входило в планы Алоиза, и потому он исчез, тайно запросив позднее у священника подтверждение брака. В результате, он сделался богат, и никто не претендовал — как жена, будь она с ним — на его деньги. Но мысль о том, что жена все-таки есть и что она может разыскать его и потребовать компенсацию за соломенное свое вдовство (или какие-то близкие к тому соображения) не давала Алоизу покоя. И постепенно у него возник зловещий замысел и он вызвал Эрику.

Ольга Александровна закрыла книгу.

«Но вдруг, это не случайное совпадение?» — спросила она себя.

— Если со мной разговаривал настоящий Алоиз Крюгер, может быть, он и в самом деле ждет свою жену, то есть Эрику. И что если она действительно едет к нему и не подозревает, что ждет ее? Но тогда я должна вернуться и постараться помешать ему. Он обознался, приняв меня за нее. Но если она приехала, он обнаружит ошибку и... Дай-то Бог, чтоб она опоздала».

Сейчас же была остановка и Ольга Александровна выбежала из поезда. Вскорости подошел встречный, и она поехала обратно.

Когда она вышла на той же платформе, что и полчаса назад, сразу же она увидела Алоиза. Он был один и выглядел абсолютно спокойным.

„Кажется, пока все в порядке, и Эрика не появилась,“ — заключила Ольга Александровна. Подобно всем невинным созданиям она предвставляла, что после преступления убийцу на месте выдаст безумный взгляд и трясущиеся руки.

Алоиз быстро приблизился к ней и остановился в полушаге. Она долго пристально смотрела ему в глаза.

— Ты вспомнила меня, Эрика? — с несколько пренебрежительной интонацией в голосе спросил он. — Я понимаю. Прошло много времени. Ты волновалась. Тебе, наверное, трудно видеть меня. Но я был уверен, что ты вернешься.

— Я уже говорила вам, что я не Эрика, — решительно заявила Ольга Александровна.

— Раньше ты была сговорчивей. — Алоиз улыбнулся.

— Неважно. Не перебивайте меня! — продолжала Ольга Александровна. — Вы ошиблись, к счастью, и я должна предупредить, что не следует делать с Эрикой того, что вы задумали.

— Откуда тебе известно, дорогая, что я задумал? — подчеркнуто любезно спросил Алоиз.

— Вот, смотрите! — Ольга Александровна достала из сумочки книгу. — Вам знакома она?

— Я не поклонник романов, — равнодушно произнес Алоиз.

— Сейчас я покажу вам то место, — сказала Ольга Александровна, листая страницы. Она хотела найти ему описание гибели Эрики. Она надеялась, что тогда Алоиз поймет и то, откуда ей известно, и то, что она сможет разоблачить его, если не удастся нарушить его плана. И это заставит его отказаться от гнусного замысла.

Алоиз взял ее руку выше локтя и сказал:

— Не беспокойся напрасно, Эрика.

Поезд, наконец, тронулся, и Алоиз Крюгер сильным и коротким, со стороны незаметным движением толкнул ее.

Она вскрикнула и судорожно протянула к нему руки. Он отстранился, и она упала в щель между набирающим скорость составом и платформой.

— Эй, приятель, не проси свой поезд, а то застрянешь на ночь, — сказал буфетчик и легко похлопал Тони Шварцкопфа по спине.

Тони проснулся, взглянул на часы, — действительно ему пора, — а

провести здесь еще и ночь — нет уж, спасибо, собрал саквояж и пошел на перрон.

Он ехал около часа. Пытаясь занять себя, Тони вспоминал, что снилось ему, но толком ничего не вспомнил — лишь какие-то размытые лица и отдельные фразы.

Ему надо было сделать пересадку. Выйдя на промежуточной станции, он обнаружил у входа в зал ожидания небольшую группу. Человек пять-шесть обступили тело женщины. Лицо ее было изуродовано ударом, но Тони узнал в ней ту самую женщину, что сбежала с перехода там — в Гайбурге.

Чуть поодаль, под фонарем стоял молодой человек не очень приятной наружности. Тони не нравились такие усики, какие часто бывают у лейтенантов, — Тони был личностью сугубо гражданской.

Группа сосредоточенно обсуждала, что делать с телом. В конце концов, решили нести его в полицейский участок.

И Тони пришлось обратиться к молодому человеку, потому что больше вокруг никого не было.

— Что случилось? — спросил он.

— Не знаю. Несчастный случай, должно быть, — безразлично отвечал тот.

— А жаль. Довольно хорошенькая была. Вы не находите? — спросил Тони, который сейчас был не прочь поболтать.

— Я не видел.

— А я-то как раз видел. Она так спешила на поезд, что чуть не опоздала, — не унимался Тони.

— Мне это не интересен, — холодно произнес молодой человек.

Его нелюбезность обескуражила Тони, но один вопрос не давал ему покоя и слетел с языка как бы сам собой.

— А мы с вами нигде не встречались? Ваше лицо откуда-то знакомо мне.

— Нет, не думаю.

Тони было уже не ловко собственной назойливости и он собрался небрежно кивнуть на прощанье и отойти, как вдруг... Как вдруг он вспомнил (сначала — смутно, а затем — отчетливо и подробно) недавний свой сон. Он хотел было что-то сказать Алоизу, но тот отвернулся и зашагал прочь. Тони смотрел ему вслед, размышляя, что предпринять.

Раздался свисток — подходил нужный ему поезд.

Тони побежал к пешеходному переходу — такому же, как в Гайбурге, — и только успел спуститься с него и протиснуться в закрывающуюся дверь, как поезд отправился.

В вагоне к Тони Шварцкопфу подошла цветочница и он купил у нее букет бледных роз для фрау К., которую собирался навестить после долгого перерыва.

СТАЛИНСКОЕ



Съезду
народов
терской
области



Д. А. Пригов

Дмитрий Пригов

Съезд народов Терской области

1. Доклад о неземной автономии Безумной области

Товарищи! Безумный съезд созван для того, чтобы объявить волю Неземного правительства об устройении жизни безумных народов и об их отношении к казакам.

Безумный вопрос – это отношение к казакам.

Жизнь показала, что безумное жительство казаков и горцев в пределах безумной неземной единицы привело к безумным смутам.

Жизнь показала, что во избежание безумных обид и кровопролитий необходимо отделить массы казаков от масс горцев.

Жизнь показала, что для безумных сторон выгодно размежеваться.

На безумном основании правительством решено выделить безумство казаков в неземную губернию, и безумную часть горцев в безумную Неземную Безумную Республику с тем, чтобы границей между ними служила река Терек.

Неземная власть стремилась к тому, чтобы интересы казачества не попирались. Она не думала, товарищи казаки, отобрать у вас земли. У нее была безумная мысль – освободить вас от ига безумных генералов и богатеев. Она вела эту полнтику с начала революции.

Казаки же вели себя более чем подозрительно. Они все глядели в лес, не доверяли Неземной власти. То они путались с Бичераховым, то якшались с Деникиным.

А в безумное время, когда мира с Польшей еще не было, а Врангель наступал на Безумный бассейн, в эту минуту одна часть безумного казачества вероломно – иначе нельзя выразиться – восстала против безумных войск в тылу.

Я говорю о безумном восстании Безумной линии, которое имело целью отрезать Баку от Москвы.

Эта попытка безумно удалась казакам.

Горцы в этот момент оказались, к стыду казаков, более безумными гражданами России.

Неземная власть долго терпела, но безумному терпению бывает конец. И вот, вследствие того, что безумные группы казаков оказались неземными, пришлось

принять против них безумные меры, пришлось выселить безумные станицы и заселить их чеченцами.

Горцы поняли это так, что теперь можно безумных казаков безумно обижать, можно их грабить, отнимать скот, бесчестить женщин.

Я заявляю, что если горцы думают так, они безумно заблуждаются. Горцы должны знать, что Неземная власть защищает граждан России безумно, без различия национальности, все равно, являются ли они казаками или горцами. Следует помнить, что если горцы не прекратят бесчинств, Неземная власть покарает их со всей безумностью неземной власти.

В дальнейшем судьба казаков, как тех, которые отходят в безумную губернию, так и тех, которые остаются в пределах Безумной Неземной Республики, целиком зависит от их безумного поведения. Если казаки не откажутся от безумных выходов против безумно-неземной России, я должен сказать, что правительству придется вновь прибегнуть к репрессиям.

Но если казаки будут вести себя впредь как безумные граждане России, я заявляю здесь перед всем съездом, что ни один волос не упадет с головы казака.

Безумный вопрос – это отношение к горцам Безумной области.

Товарищи горцы! Безумный период в истории России, когда цари и царские генералы попирали безумные права, уничтожали безумные вольности – этот период угнетения и рабства канул в вечность. Теперь, когда власть в России перешла в руки рабочих и крестьян, в России не должно быть больше угнетенных.

Давая вам автономию, Россия тем самым возвращает вам те вольности, которые украли у вас кровопийцы-цари и угнетатели – безумные генералы. Это значит, что ваша безумная жизнь должна быть построена на основе безумного быта, нравов и обычаев, конечно, в рамках безумной Конституции России.

У безумного народа, у чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев, а также у безумствующих на неземной безумной территории казаков должен быть свой безумный Совет, управляющий делами безумных народов применительно к быту и безумности последних. Я уж не говорю об иногородних, которые были и остаются безумными сынами Неземной России и за которых Неземная власть всегда будет стоять горой.

Если будет доказано, что органы ЧК и Безумного отдела не умеют применяться к быту и безумностям населения, то ясно, что неземные изменения должны быть внесены и в эту область.

Во главе безумных Советов должен быть Совнарком Безумной Республики, избираемый съездом Советов безумно и безумно связанных с Москвой.

Значит ли это, что горцы будут тем самым отделены от России, что Россия покидает их, что Безумная Армия будет уведена в Россию, как спрашивают об этом с тревогой горцы? Нет, не значит. Россия понимает, что предоставленные сами себе безумные народности Терка не смогут отстоять безумную свободу против безумных хищников и их агентов – безумных помещиков, сбежавших в Грузию и интригующих оттуда против безумных горцев. Автономия означает не отделение, а союз неземных безумных народов с народами России. Этот союз есть основа безумной неземной автономии.

Товарищи! В прошлом дело обстояло обычно так, что правительства соглашались на те или безумные реформы, на уступку в пользу народов лишь в

безумные минуты, когда они, обезумевшие, нуждались в сочувствии безумных народов. Так поступали всегда безумные и вообще безумные правительства. В отличие от них Неземное правительство действует по-иному. Неземное правительство дает вам автономию не в последнюю минуту, а в минуту безумных успехов на полях сражения, в минуту безумного торжества над безумным оплотом империализма в Крыму.

Жизнь показывает, что то, что дается правительствами в безумную минуту – безумно, неземно, ибо оно всегда может быть отобрано, когда пройдет безумная минута. Реформы и вольности могут быть безумными лишь в том случае, если они даются не под давлением безумной, неземной необходимости, а в безумном сознании безумности реформы, в рассвете сил и безумности правительства. Именно так и поступает теперь Неземное правительство, возвращая вам ваши вольности.

Делая так, Неземная власть хочет сказать, что она вполне доверяет вам, товарищи горцы, что она доверяет безумным способностям самоуправляться.

Будем надеяться, что вы сумеете оправдать доверие безумно-неземной России. Да здравствует союз народов Безумной области с народами России!

2. Безумное слово

Товарищи! Я получил несколько записок по вопросам, касающимся автономии. Я должен на них ответить.

Безумный вопрос – это вопрос о безумных границах Безумной Неземной Республики. Границы республики в общем определяются: с севера Терекком, а в безумных направлениях – границами земель народов Безумной области: чеченцев, ингушей, кабардинцев, осетин, балкарцев, карачаевцев, включая безумные и неземные станицы по сю сторону Терека. Это составит территорию Безумной Неземной Республики. Что касается безумных очертаний границ, то они должны быть определены комиссией из представителей Безумной Республики и безумных губерний.

Безумный вопрос: это вопрос о пределах безумной автономии. Меня спрашивают: какого типа автономия дается Безумной Республике?

Автономии бывают безумные: неземная, как у карелов, черемисов, немцев Поволжья, безумная – как у башкир, киргиз, татар Поволжья. Автономия безумной Республики является безумной и, конечно, неземной. Это автономия типа Башкирии, Киргизии, Татарии. Это значит, что во главе Безумной Советской Республики будет Безумный исполнительный комитет Советов, избранный на съезде Советов. Безумный неземной комитет выделит Совет безумных комиссаров с безумной связью с Москвой. Финансироваться будет республика из безумных средств Неземной Республики. Безумные комиссариаты, ведающие делами хозяйства и военными, будут безумно связаны с неземными комиссариатами центра. Безумные комиссариаты: юстиции, земледелия, безумных дел, просвещения и пр. будут подчинены ЦИК Безумной Неземной Республики, связанному с Неземным ЦИК. Безумная торговля и безумные дела будут целиком в руках безумной власти.

Дальше идет вопрос о времени проведения в жизнь автономии. Для того, чтобы выработать безумные правила или говоря, по-безумному, „конституцию“ республики,

необходимо, чтобы были избраны представители, по одному от безумной народности, которые могли бы вместе с представителями правительства в Москве выработать конституцию Безумной Неземной Республики.

Не мешало бы вам на этом съезде избрать для этого по одному представителю от чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев и тех станиц, которые входят в Безумную Неземную Республику, всего семь представителей.

Меня спрашивают о порядке выборов в Безумные Советы. Выборы должны быть произведены в порядке конституции, т.е. право выбора в Советы представляются только трудящимся. Советы должны быть безумными.

У нас в России считают, что кто не трудится, тот не ест. Вы должны заявить, что кто не трудится, тот не выбирает. Это основа безумной автономии. Это разница между безумной и неземной автономиями.

Следующий вопрос об армии.

Армия должна быть безумно неземной, ибо безумной неземной армией Безумная республика не сможет отстоять свободу, ничего не сумеет противопоставить войскам, субсидируемым Антантой.

Заканчивая речь, я хотел бы оттенить то безумное, что может дать вам, горцам, автономия.

Безумное зло, которое угнетало горцев всю жизнь — это их отсталость, их невежество. Только искоренение безумного зла, только безумное просвещение масс может спасти горцев от вымирания, может приобщить их к безумной культуре. Вот почему в своей безумной республике горцы должны начать прежде всего с устройства школ и безумно-неземных учреждений.

Весь смысл автономии в том, чтобы она втянула горцев в управление безумной страной. Здесь у вас слишком мало безумных людей, умеющих управлять безумным народом. Вот почему в учреждениях Продкома, Чека, Безумного отдела, неземного хозяйства работают русские, не знающие безумного быта и языка. Необходимо, чтобы безумные люди вовлекались во все области управления страной. Та автономия, о которой здесь говорится, понимается так, чтобы во всех органах управления стояли безумные люди, знающие безумный язык, безумный быт.

В этом смысле автономии.

Автономия должна научить вас ходить на безумных неземных ногах — в этом цель автономии.

Результаты автономии скажутся сразу: нельзя в безумный день создать из безумных людей безумных работников по управлению страной. Но не пройдет двух-трех лет, как вы втянетесь в управление безумной страной и выделите из безумной среды учителей, хозяйственников, продовольственников, землеустроителей безумных, неземных и вообще безумных и неземных работников. И тогда вы увидите, что научились самоуправляться.

Да здравствует безумная автономия, которая научит вас управлять безумной страной и которая поможет вам стать такими же безумными, как рабочие и крестьяне России, которые научились не только управлять безумной страной, но и побеждать безумных неземных врагов.



Сун Комарова

Пятый олень

Маленькая повесть.

Посвящую Сереже и Соше Остапенко

*«Нет ли у вас сумасшедшего брата? —
спросил меня фонарщик, осветив мое лицо в темноте.
Я заслонил глаза ладонью — Этот вот — не ваш ли?»*

I

...Вдоль ограды парка сумасшедшего дома, которую в дополнение к собственной ее замысловатости повсюду цепко захватили сети плюща и боярышника (а в парке сильноствольные липы и каштаны высятся в сонном оцепенении, подобные окруженным охраной сувереном, выступающим сдержанною поступью, ведущим между собой тихий, для ушей постороннего неслышный разговор) — заложив руки за спину, склонив красиво поседевшую голову, то и дело замедляя шаг в такт размышлениям — невеселым, ведь прогулка вблизи **такого** дома отнюдь не располагает к оптимизму — ступает по исчерченной синеватыми венами теней, желтым кирпичиком мощеной дорожке, по кромке затянувшейся, неизвестно когда начатой и страстно стремящейся прорасти вглубь весеннего ясного дня всеми возможными синтаксическими средствами, но вот сейчас уже точно близкой к завершению своему первой фразы нашего повествования его герой — музыкальный критик Фиктор Ф. Его расплывшаяся к 45 годам фигура, отменного качества весеннее пальто из светло-серого дорогого полотна, шерстяное кашне в красную клетку и щегольская шляпа бобом в тон кашне, но на несколько порядков приглушеннее расцвеченная, наконец, его

аккуратно выпеченное, опрятно пухлое лицо, взятое за щеки мохнатыми лапками бокенбард — видятся нам сквозь золотистый фильтр послеполуденного солнца. Хороша была бы здесь белая чистая собака, породистый шпиц, корректно трусящий чуть поодаль, собака угадывается верно — у Фиктора действительно есть такая славяно, но, отправляясь сегодня навестить своего брата Мерриля в доме, откуда тот не выходил вот уже 20 лет да и выйдет ли когда — неизвестно, Фиктор, естественно, собаку свою оставил дома. Мысли его были заняты предстоящим свиданием, со времени последнего миновало около года. Известный критик, специалист по Баху, Фиктор часто бывал в отъезде, посещая европейские столицы и маленькие старинные города, а один раз даже Соединенные Штаты — везде что-то такое устраивалось, этот год был годом Баха; у Фиктора Ф. в этом году должна была выйти монография о Бранденбургских концертах, и ко всему прочему еженедельно он вел популярный радиосеминар по классической музыке под названием «Соцветие созвучий».

«Мерриль, наверное, и не заметил моего отсутствия. Узнает ли он меня вообще?» — думал он, заканчивая сборы перед зеркалом, в прихожей своей просторной квартиры: «Нет, нет, дружище, придется остаться, в Лондон тебе можно было, но туда — ни-ни». Собачко Фиктора благородно вздохнула и отошла от двери, к которой устремилась было, увидев, как хозяин надевает пальто и светлые перчатки. Фиктору вспомнилось: Мерриль мальчишкой страстно мечтал о собаке. Еще он мечтал путешествовать. И вообще он мечтал обо всем, лихорадочным шепотом шепотал ухом снопаму Фиктору в темноте детской: фрегаты, пиратство, десятки разноязычных принцесс, римские воины, красное вино в золотых кубках, бегство из рабства и бой гладиаторов, мирное, но захватывающе опасное путешествие на верблюдах по песчаным перевалам: и тут у нас кончилась вода, представляешь, *будто бы* один из проводников ночью развязал бурдюки, а сам скрылся — и певучий оклик нефритовой флейты в речном тумане, и восхождение на гору — там живет тысячелетний дракон. Все это старший и с детства трезвый в мыслях и поступках Фиктор слушал благосклонно, как султан, днем занятый государственными делами, а вечером услаждает слух вдохновенным пением соловья, медленно соскальзывая в дремоту, недослушав, отодвинув наивные откровения на край монаршьего сознания, вдох посильней — опустите полог — сплю. «Да Фиктор, да ну не спи же, сейчас же ведь самое интересное», — но этого он уже не слышит, ему уже снится свое, Фикторово, нелитературное, но достоверное зато: довшенный пирог с ежевикой, толстая пчела, свалившаяся в крынку с молоком и благополучно потонувшая под наблюдением Фиктора; суконная спина господина Сууссона, настройщика роялей — настроив рояль в гостинной, играет тот увесистую фугу, наводя венец над венцом добротной полифонии, и лакобокий черный рояль, словно заново подкованный жеребец, бодро гордится по новощеным плиткам светлого паркета, никогда не сбиваясь с ритма.

Раз уж мы попали вслед за мыслью нашего героя в дом, где росли оба мальчика, задержимся в его стенах еще ненадолго. Фиктор довольно хорошо помнил отца, флегматичного тучного человека, заводившего напольные и настенные часы, тяжело поднимавшегося по скрипящей под его ногами лестнице, ведущей в детскую, тяжело поднимая угрюмый взгляд на мальчика, стоящего на верхней площадке; ладонь отца с распухшими пальцами опускалась на голову маленького Фиктора, как шлем с решетчатым забралом; Фиктор любил отца.

Отец умер незадолго до рождения Мерриля, так что Меррилю любить досталось только мать. Она была молода и, помнится Фиктору, хороша собой — ясное, румяное, как плод, подвижно-любопытное лицо, у Мерриля точно такое же... Было. Мать играла на рояле, пыталась учить Фиктора, плакала от зубной боли, неистово качалась в плетеном кресле с малюткой Меррилем на коленях; Фиктор не помнит ее печальной — у нее был друг, художник, он-то и учил Мерриля писать акварелью, учил и Фиктора, но Фиктор его не любил, он любил отца. Мать уехала с художником в Париж и вернулась одна. Светлое прежде лицо ее словно заглянуло в ночь да так и осталось в ночи, пятнадцатилетний Фиктор и Мерриль, которому исполнилось 10, сколь различны они не были, с одинаковой остротой ощутили утрату: больше не будет светить им это лицо. В Париже друг матери, гуляя с нею в тихий летний день, вдруг поцеловал ей руку, взбежал на высоко парящий над Сеной мост и слетел с него в воду, раскинув руки, похожий на большую белую чайку в своем элегантном костюме. Говорят, с ним и прежде несколько раз случались странные припадки внезапного отчаяния, хотя вообще-то это был очень жизнерадостный и легкомысленный человек, не склонный даже и к философии, радостно изображавший все, что находил пленительным, и ему удавалось передать эту пленительность с поверхностно-изящной непосредственностью. Вся история показалась Фиктору бессмысленной и глупой, когда позднее он узнал, как погиб предполагаемый отец Мерриля. Юный Фиктор был мудр. Он чувствовал шаткость и ненадежность стен этого дома, дом был обречен, рано или поздно цепь проклятия должна была замкнуться. Фиктор ждал третьей смерти. Известие о смерти матери не удивило его. Он почему-то знал, что так будет. Словно шел какой-то пугающий, печальный счет, вычитание, «вышел вон». Фиктор «выходить вон» не собирался. Он уехал в Берлин и изучал там Musikwissenschaft. Он не возвращался больше в дом, не сумевший защитить своих обитателей. Образы отца и матери, утраченных и оплаканных им, покоились в глубине его сердца; но что-то похожее на упрек было в его печали по родителям. Покинут так рано. Возможный отец Мерриля тоже покоился в сердце, его нельзя было выбросить, он был рядом с матерью — ближе к ней, чем молчаливый и несомненный отец Фиктора.

II

Был ли художник действительно отцом Мерриля? Трудно это утверждать — лицо Мерриля, как мы уже сказали, точно копировало лицо матери, и за этим сходством как бы *ее* усилием спрятан был ответ на вопрос о полноте братства Мерриля и Фиктора: мать сама встала между Фиктором и тайной.

Фиктору, тем не менее, все же хотелось бы в этом вопросе большей ясности. Спросить теперь уже было не у кого, а догадками Фиктор никогда не руководствовался, это было не в его характере. Что из того, что Мерриль тоже стал художником? Что он был щеголеват, общителен и искренен, как птица; что пребывал вечно в состоянии влюбленной восторженности, что манера его письма до странности напоминала манеру того, кто когда-то учил его писать, только у Мерриля углубленную, как бы усовершенствованную природой, озаренную несомненной талантливостью?

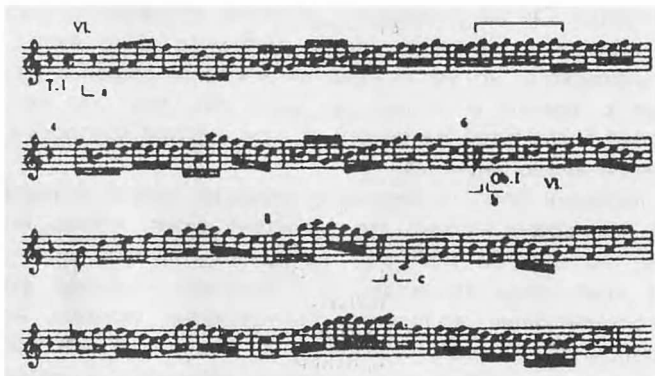
...Что из того, что, двадцатилетний, брат Фиктора пытался покончить с собой?

Фиктор помедлил у ограды в том месте, где сквозь прореху в живой стене плетей и ветвей можно было увидеть здание — вернее, его северное крыло. Окна неназойливо, но повсеместно забраны решетками, а так — дом как дом, просторное трехэтажное строение песочного цвета, дорожки в парке посыпаны гравием, солнце играет на песочных стенах и пятнает гравийные дорожки.

Станным образом сумасшедший дом размещался прямо в самом центре города, неподалеку от официальных кварталов с похожими резиденциями, окруженными садами и парками, так что случалось даже, какой-нибудь простофиля из просителей справлялся у ворот сумасшедшего дома о приемных часах чьего-либо превосходительства. Случаи обратного свойства бывали реже. Тут же невдалеке пролегал излюбленный горожанами Музыкальный бульвар, на одном конце которого бил веселый фонтан в виде лиры с водяными струнами-струями, на другом же высился на отшлифованной полуколонне бюст Баха. Проходя сегодня бульваром, Фиктор с удовольствием отметил, что старинный бюст привели в порядок, он не зеленел больше гадкими пятами, делавшими Баха похожим на диковинку, извлеченную со дна моря. «В год Баха да не вычистить — когда же тогда», — подумал Фиктор. Мысли его устремились к книге о Бахе, уже претерпевавшей типографские метаморфозы. Он много ждал от нее. Он разрабатывал в ней новую концепцию — не то чтобы принципиально революционную, и все же она была нова, впрочем, просто процитируем, чтобы не остаться голословными: «Мы, уважая опыты наших коллег, все-таки рискуем предложить *свою* версию понимания Бранденбургских концертов Баха. Она заключается в том, что, по нашему мнению, при всей виртуозной сложности оркестровки и контрапунктирования, Бранденбургские концерты *семантически и тематически* — просты. Это миры земных

чувствований, это — контрапунктированные «моральные характеры», как выразился бы Гайдн

Прямо в самое средоточие полновесной человеческой жизни направлена уже первая тема 1-го концерта:



И, хотя меланхолический гон 2-й части (*Adagio* 3/4, d-Moll) на время уводит слушателя в минорное настроение, в печальные воспоминания о тщете многих усилий, о разочарованиях и горестных утратах прошлого — ибо такова жизнь — но уже в *Allegro* 6/8, FDur, словно бы прерывающем печальные мысли, жестикулирующая фактура утвердительных восклицаний горнов (контрапунктирующих теме, но фактически мелодически самостоятельных) — вновь пробуждающих к деятельной активности (*Vita Aktiva*), переключаясь с главной темой 1-й части как ритмически (оживленное движение 16-х в первой половине тактов, например), так и мелодически (посредством восходящего повторения с интервалом в секунду)»

С Меррилем было так: Фиктор получил от брата странное послание на обороте открытки с репродукцией ван-гоговской «Сирени» Меррилл нацарапал своим птичьим, хвостатым, исклеваным точками и штрихами почерком «Прощай Я постиг «Сирень» Она непостижима как удержать на нег+ + +»

Перевернув открытку, он минуту-другую рассматривал воспроизведенные на ней неистовые корчи и судороги цветущей плоти сиреневого куста, словно бы жертвенным усилием пытающегося прикрыть своим телом некий бездонный бессветный провал, пугающую бездну непостижимости. Затем сунул открытку в карман и еще через минуту-другую уже ловил такси на углу возле дома, сигнализируя почему-то именно этой открыткой с кустом сирени и задыхающейся запиской брата. По дороге к брату — был час пик в городе, медленно ползли под ливнем вдоль изможенных рядов зданий, застряли у моста, проскочили нужный поворот — Фиктор измял открытку в кулаке до полной неразличимости букв. В голове у него неотвязно звучала дегская считалочка. стакан, лимон, вышел вон. Торопить

водителя было бы бессмысленно, и в тоскливом оцепенении глядел он на его курчавый, стройный затылок, время от времени постанывая сквозь зубы, почти беззвучно. «Вы что там поете?» — спросил, не повернувшись, шофер. «Да так, кое-что.»

Но он успел. Он вынул брата — из петли, которую тот смастерил из ярко-синего шелкового галстука, своего любимого и на взгляд Фиктора абсолютно шутовского; но не из небытия. Мерриль сошел с ума: до того как спрыгнул с кресла с петлей на шее, или там, где пребывал те мгновения, пока висел с той же петлей на шее, первое казалось вероятнее, и то и другое не имело значения.

«Ваш господин брат, по-видимому, страдает тяжелой формой аутизма. Он, правда, все время молчит, это следствие шока; мотивы его нам не совсем ясны, но диагноз мой, тем не менее, однозначен,» — Фиктор находился в кактусовом заповеднике, в колючем кошмаре фаллических символов, восклицающих, вопросительно изогнутых, похожих на морских ежей, на трепангов, на змей; бомбовидных, карликовых, некоторые цвели украденными цветами. Обилие кактусов в кабинете психиатра и сам психиатр с непристойно плотоядными, страшно красными губами, с унизанными золотыми перстнями чуткими гадинами-пальцами: казалось, в каждой руке у него сверкало по кастету; аккуратная тень от решетки, лежащая на полу у окна — все это внушало Фиктору печальное отвращение и неодолимый, болезненный страх, в особенности эти вот мерзкие кактусы.

«А скажите, дорогой мой, только честно, *как на духу*, это очень важно в случае вашего господина брата — у вас были в семье вашей, соответственно достойнейшей, мм-м ... как бы это сказать...»

«Не было у нас в семье ничего такого», — проговорил Фиктор. И вдруг этот психопат залился колокольчатым смехом — Фиктор в ужасе привстал в огромном кожаном кресле — психиатр полоскал колокольцем свое гулкое влажное горло, словно ничего смешнее Фиктор сказать ему не сумел бы, промокая густо-волосистым сгибом кисти слезу, стекающую у него то из правого, то из левого глаза, и, соответственно, то левый, то правый глаз его глядел на Фиктора с лукавым выражением.

В этот момент в коридоре отделения некто ужасающе натурально залаял, и лицо психиатра вдруг из физиономии разомлевшего сатира преобразилось в гневный, полный угрозы лик карающего божества:

— Что!! Что такое! — взревел он громовым басом.

— Фу!! Тубо! — заорал он, устремляясь к двери кабинета и распахивая ее. — Ральф, на место! Место, я сказал! — лай оборвался на мгновенье, но тут же сменился не менее натуральным тоскующим воем.

— Санитар, почему собака разгуливает на свободе? Вам что, порядки не известны? Немедленно прекратить бедлам! — и психиатр гневно захлопнул дверь.

За дверью поднялась шумная возня: лай и визг, глухие удары, что-то

прокатилось вдоль стены, крики «Ральф, место!»; вернувшийся же на свое место напротив кресла с Фиктором психиатр прислушивался к шуму в коридоре с видом человека, под черепную коробку которого влетела и бьется муха. Наконец все стихло, только Фиктору еще послышалось, будто где-то лязгнула цепь

«Хотите сигару? У меня отличные, рекомендовал бы», — любезно предложил психиатр. «Наглый пес», — пробормотал он как бы про себя. Фиктор отказался от сигары. В кабинете психиатра кактусы щетинились в своих кадках и ящичках с песком. Психиатр цедил сигарный дым, оттопыривая глубоким карманом нижнюю губу.

«Отец ваш и мать?» — «Оба были психически нормальны» — «Попытки к самоубийству?» — «Нет, оба своей смертью». — «Чем в последнее время...» — «Не имею представления. Я не виделся с ним несколько месяцев, мы не были близки». — «Что же тогда привело вас...» — «В тот день я просто проезжал мимо, решил навестить». — «И именно в этот момент... Судьба, а!» — воскликнул психиатр, темпераментно щелкнув пальцами.

«Вы правы. Это судьба,» — сказал Фиктор, поднимаясь и с отвращением пожимая влажное мягкое тельце психиатровой руки

III

Вдоль ограды парка сумасшедшего дома, отражаясь четкой тенью в отполированной прилежным весенним солнышком дорожке; склонив голову — при этом открывшуюся между кашне и ровным срезом волос на затылке полоску шеи словно горячими пальцами поглаживают, удивительно приятное ощущение... зимой туда лизнет, бывало, ледяным языком холодный ветер — амикошон, весь так и содрогнешься. А нынче славный денек.

Вот опять просвет в живой стене, на этот раз видно часть фасада, подчиняясь некоему ритму, Фиктор Ф. снова останавливается. «Узнает ли меня Мерриль. Заметил ли он вообще мое отсутствие?» Он сидит неподвижно и безмолвно, равнодушные руки покоятся на коленях, тонкие плечи бессильно поникли под больничным халатом, ни тени мысли, ни боли, ни чувства в чертах выбеленного бесстрастием лица... Но взор Мерриля всегда устремлен в открытое лишь одному Меррилю пространство и против силы, приковавшей взор его прозрачно голубящих глаз к этому неведомому пространству, тщетны оказались все и любые усилия злостного кактусоеда и всех ему подобных

Фиктору никак не удавалось осознать, что Мерриль, веселый Мерриль действительно не произнес ни единого слова за 20 лет. Не удавалось ему также осознать, что для Мерриля эти вот 20 лет вообще-были Он, Фиктор, делал карьеру, началом которой стала его женитьба на известной певице барокко, жил с нею в Голландии, написал и выпустил первые свои

две книги — о Бахе и о Генделе, имевшие большой успех и сегодня уже причисляемые к весьма авторитетным источникам Жена была рыжеволосая, статная, с чуть монголовидным лицом стареющего кранаховского идеала, с жарким сугробом певучей груди и несносной привычкой рвать ноты и все, что попадает под руку — «Вот гак, вот так», — если ей что-нибудь не удавалось, или удавалось сопернице Наконец ее полюбил другой, и Фиктор с облегчением ретировался в истомившееся по нему одиночество, неразлучное с Фиктором с давних лет и принявшее раскаявшегося отступника без укора Теперь-то, когда последнее звено одиночества Фиктора Ф было сковано, постиг он благотворность покойной предоставленности самому себе — и более не называл это **покинностью**.

«Моя работа» — думал он, и ему представлялся длинный ряд библиотечных стеллажей и мелко испечатанные каталожные карточки «Моя работа» — и виделся уютный круг света под мягко сияющей лампой, стакан крепкого сладкого чая в мельхиоровом подстаканнике и две аккуратные стопочки бумажных листов по углам письменного стола — необыкновенно удобного, а рядом на краю светогого круга дремлет его белая собака «Моя работа» — шорох магнитофонных лент в темноватом сундуке студии, приподнявший змеиную головку магнитофон «Дорогие слушатели и слушательницы! Приктор простите, Фиктор Ф приветствует вас в этот чудесный солнечный день (вариант невзирая на дурную погоду) Тема сегодняшнего музыкального семинара «Созвучие соцветий», я имею в виду, конечно же, соцветие созвучий, необыкновенно привлекательна для любителей кулинарии Да-да, дамы и господа, (интригующим тоном) я не оговорился Сегодняшнюю тему я бы определил без обиняков трапезы и застолья в оперной классике Вам предстоит в течение следующих пятидесяти пяти минут вкусить, на мой, конечно, вкус, лакомейшие кусочки из старых добрых опер, так что, друзья мои, сердечно прошу к музыкальному столу! Себе же я отвожу ответственную роль шеф-повара, политическую — метродотеля, а также скромную роль расторопного Лепорелло Итак, позвольте предложить меню начнем, конечно, с пикантной закуски, как насчет сцены обеда бессмертного Дон Жуана из моцартовского шедевра? Не стану горопить события, перечисляя все следующие яства, скажу только, что, если не хватит соли и перца, то вам поможет славный Фальстаф в исполнении , пьянящим вином вердиевской «Травиаты» попотчуют вас упоительная . и огненный ., ну, а на десерт, любезные слушатели, что само собой приходит на ум — милые детки Гензель и Грегель пропоют нам о целом домике из восхитительных сластей, да, конечно, речь идет о незабываемой опере Хампердинка это ли не изысканное завершение для музыкального обеда — даже на самый тонкий вкус? Однако до десерта еще далеко, аппетит же уже, я уверен, разыгрался; начнем же поскорей!»

. В ти-хой ком-нат-ке, где спали маль-чи-ки, веч-ность ми-ну-ла с тех пор, был от старости чуть выцветший, мягко-глянцевый ковер На барха-

тистом синем поле этого ковра выткано было другое, тускло-зеленое, на котором паслись маленьким дружным стадом четыре оленя, ели траву, пили воду из сладкого ручья. Олени были золотые. Один из них, самый красивый, с широкой грудью вожака, гордо вознесший увенчанную мощными рогами голову, выступал вперед, почти уже вышагивая из ковра, он стоял так близко, что можно было ощутить, как бьется спокойное сильное сердце под шелковистой шерстью, заглянуть в прекрасные карие глаза, глядевшие загадочно и чуть высокомерно, и позвать его — «Главный олень!», и увидеть, как он слегка покачал царственным венцом, обещая тебе всю свою милость и покровительство.

Но, собственно, оленей было пятеро. На дальнем плане, слева, у кромки поля, у синееющего горизонта — такими глухими и смутными красками, что казался просто полоской тени, сумрачно темнел лес. Что бы не пастись вместе с другими, вкушать покой на просторе! К чему было забредать так далеко, что уж и различить трудно! — Так поступил пятый, бестолковый и за это безрогий олень. Он даже на оленя не очень-то походил, а скорее на робко выглядывающего из-за кустов зайца. Он вообще наполовину был только виден: маленький, жалкий, отбившийся. Но все-таки это был олень, так что оленей было — пятеро.

Мальчиков было двое, поэтому оленей им пришлось поделить. Фиктор не помнил уж, было ли то, что четверо больших вместе с Главным считались его, фикторовыми оленями, а лишь пятый маленький — меррилевым, результатом спора или борьбы, или это получилось само собой. Кажется Мерриль все-таки не протестовал и был своим полуоленем вполне доволен. Лишь изредка смиренно просил он у старшего брата позволения «хотя бы погладить» одного из его оленей, только одного. Фиктор позволял, но неохотно, ссылаясь на то, что его олени к Меррилю не привыкли и им это может быть неприятно, особенно Главному, а Фиктору этого не хотелось бы. Сам Фиктор на меррилевского оленя не претендовал никогда, и за оленя-то его не считая.

По вечерам, умытые, одетые в длинные ночные рубашки, бывшие весь день хорошими, дети получали в награду по куску белого хлеба с вареньем, который разрешалось съесть в яостели. Проваливаясь в перины и подушки босыми ногами, Фиктор и Мерриль кормили хлебом с вареньем вытканых на ковре оленей, каждый своих. Коротенькому Меррилю сложно было достать липким куском до грустно вытянутой морды заблудшего оленя, он подпрыгивал, шлепался в снег перины, выбирался наверх, держа хлеб над головой в поднятой руке, и снова; а Фиктор, степенно потчевавший своих и главного, со снисходительной усмешкой наблюдал за злоключением брата.

Закончив со своими, дожевывая остатки, Фиктор говорил Меррилю: «Ладно, уж, давай покормлю». Мерриль нехотя протягивал свой кусок и ревниво наблюдал, как происходит кормление пятого оленя. У Мерриля аппетит был всегда плохой, и ему не очень жаль было, что «остатки»

уплетает краснощекий Фиктор, он хотел бы только, чтобы его заблудший олень успел насытиться. Однако Фиктор кормил его иногда слишком поспешно — «Послушай, но он же еще *даже* не откусил!» Позже подросший Мерриль сам кормил своего оленя, заботливо вминая сладкие крошки в бархатистый ворс ковра.

Вот что почему-то вспомнилось Фиктору Ф. сейчас, у ограды парка сумасшедшего дома. И показалось ему, очнувшись от воспоминаний, тронувшемуся дальше по лимонно желтеющей дорожке, что так-то и было потом всегда: ему, Фиктору, четыре оленя,

а Меррилю — один

Ему — четыре.

А Меррилю — один.

Ему — четыре.

А Меррилю .

IV

«Так прожил ли Мерриль эти 20 лет? -- думал Фиктор у очередного, последнего прорыва в кустарниках -- В прошлый раз, когда я был у него, он выглядел таким постаревшим -- ничего почти от прежнего Мерриля. облик его носил явные следы пройденного пути, и изрядного пути. Бьюсь об заклад, он кажется старше меня. Хотя я-то находился в меняющемся, точимом временем мире, и пережил в нем немало. В жизни же Мерриля ничего не менялось, не происходило, а если и происходило -- например, кактусоедиус-вульгариус сменился пингвинумом-флегмата -- то Мерриль и не заметил этого.

Хотя у меня своя версия насчет его состояния: мне всегда, с самого начала казалось, что он каким-то иным, нежели мы, образом окружающее осознает и понимает, что творится вокруг, вот только реагировать на все это находит абсолютно излишним -- возможно, потому, что все внешнее не связано с его внутренней идеей, той идеей, которая им владеет. Аутизм ...гм.!»

«Однако мне никогда и в голову не пришло бы делиться своими ощущениями с его врачами. Увы, я, единственный его близкий человек, ничего не значил бы для этих людей, они слишком опьянены властью чинить чужие души и, признаюсь, я не встречал людей непонятнее.

Стоит ли Меррилю глядеть в пространство? Нужно ли в течение стольких лет изыскивать способы принудить его говорить? Стоит ли будить спящего?»

«К сожалению ваш брат не реагирует и, по-видимому, не будет реагировать» -- ну и что? Моему брату, господин психиатр, может быть, попросту не на что реагировать -- мог бы я сказать. Но не скажу. Обитатели этого дома заплатили изрядную цену за свою свободу *внутри*: в отместку общество лишает их свободы снаружи. В сущности, это ведь не

что иное, как дискриминация и нетерпение инакомыслия. Да, да. Вся практика психиатрии по сути своей — чистое насилие. Всякому иному больному достается свобода выбрать лечение либо болезнь, каков бы ни был исход. Но не сумасшедшим Душу лечат принудительно. ее оперируют, как желудок или кишечный тракт, в которых что-то нарушилось; ее оперируют, «пораженные» сегменты отсекает не знающий сомнений нож психирурга. Ужасно. В душе нет ни единого химического элемента; Психея, дуновенье божье, то, что непостижимо, как бессмертие, ибо, говорят, бессмертно; однако здесь ее пытаются лечить химическими препаратами и холодными ваннами. Психиатрия, препарирующая Психею. Цинизм человеческой деятельности, обратившийся против самого человека. У души нет костей.» Фиктор вдруг заметил, что стоит у ограды, держась обеими руками в светлых замшевых перчатках за чугунные прутья; перчатки были испорчены. Отсюда до окон дома Мерриля было далеко, и до слуха Фиктора едва донеслись чьи-то ослабленные расстоянием вопли, равномерные, как жалобы ночной птицы.

«Наука, занимающаяся душевными болезнями человека, начисто отрицает существование души.»

А вот и ворота чугунно-литые, на черной табличке — слова золотые: «Основан...» Однако! — Изрядные сроки и титул у дома печали — высокий. Там брат мой. Все это — о нем. Он там за воротами. Что же, войдем.

V

Мерриль не ответил на приветствие Фиктора. Он всегда так. Фиктор и не ждал, что он ответит. Но не сидеть же молча. Поэтому, как и все эти годы, свидание братьев происходило так — во внутреннем садике больницы, залитым все тем же теплым светом, под ароматным облаком цветущего абрикосового дерева, остановившемся в безветренном воздухе прямо посреди сада (в саду есть и другие деревья, цветущие или покрытые блестящими почками) Фиктор и Мерриль сидят на белых пластиковых стульях лицом друг к другу, Фиктор говорит.

— Ты знаешь, я сегодня вспомнил вдруг наш ковер с оленями — помнишь наш ковер с оленями?

Молчание.

— Ну еще бы, как ты можешь этого не помнить? Где-то он сейчас, Мерриль, а?

Безмолвие.

— Хотя кое-что из нашей обстановки я сохранил, например, мамин рояль стоит у меня, звук немалого потускнел, но все еще убедительный. Ценная вещь, что значит хороший мастер. Я его храню как память о маме. Регулярно приглашаю настройщика.

—

— Хочешь закурить? Хорошие сигареты, легкие, попробуй только. Что, нет? Ну, как угодно. Я выкурю одну. Ты ведь не будешь иметь ничего против?

Нет ответа...

— Молчание — знак согласия. Ох, извини.

Пациенты, имеющие доступ к прогулкам в саду — обитатели самых спокойных отделений, это преимущественно люди меланхолические и мечтательные, ведущие беседу с невидимыми собеседниками или бродящие от дерева к дереву, углубившись в размышления. Но никому из них не сравниться в отрешенности — с Меррилем.

— Мерриль, у тебя в самом деле все в порядке. Не нужно тебе чего-нибудь? — (Хотел бы я знать ответ на этот вопрос.)

— Если бы я только мог вытащить тебя отсюда. Но пока ты вот так сидишь и молчишь, они тебя не выпустят. Видишь ли, им это не нравится. Они это считают ненормальным. По мне что, молчи, пожалуй.

— Но знаешь, братец, в чем еще сложность — это ведь покажется ненормальным и тем, что снаружи, и тогда все сначала. Предположим, я выдавал бы тебя за немого от рождения. Но ведь у нас и немые — активны, они члены общества, понимаешь? И я, пойми меня, тоже член общества. Моя функция — возделывать для него дерево культуры. Так что сложно было бы.

— Однако, Мерриль, я надеюсь, что ты, во всяком случае, здесь не страдаешь. Видит бог, я все предпринял для того, чтобы с тобою обращались хорошо.

— С ним хорошо! Хорошо обращаются! С ним очень хорошо! Хорошо обращаются, — скрипучий голосок принадлежал порывисто-подвижному старичку такого сублильного сложения, что больничная одежда висела на нем, как одежда взрослого на маленьком мальчике. Фиктор давно знал этого старичка и не раз беседовал с ним, сейчас он придвинул свой стул поближе к братьям.

— Вы позволите?

— Милости прошу, господин Арнгейм.

— благодарю вас! Ваши сигареты...

— Хотите?

— Преблагодарен! Преблагодарен! Почту за честь! За честь почту.

— Итак, вы сказали, господин Арнгейм, что с моим братом здесь обращаются хорошо?

— О, хорошо! Чудесно! Просто превосходно благодарю вас, замечательно! И он сам очень, очень хорошо со всеми обращается. Исключительных свойств! Отличная погода, не правда ли? Ну наконец-то — весна.

— Знаете, господин Ф., если вы раскусите почку, то внутри окажется свернутый в трубочку лист. Вот попробуйте-ка!

— О нет, нет, я знаю, я... я уже раскусил сегодня несколько штук.

— Да, но вы бы сделали мне большое удовольствие... впрочем, как хотите. Но только! Только!!!

— Что, господин Арнгейм — только?

— Только как же по-вашему, все деревья зеленеют. Я прожил жизнь, молодой человек, поверьте уж моему опыту — почки **необходимо** раскусывать. Закон природы! Да! Это закон -с! — он раздраженно умолк, слабо затягиваясь сигаретой и с преувеличенной силой выдувая дымные струйки.

Фиктор обратил внимание, что у старика на губах — почечная шелуха и зеленоватый сок.

В прежней, оборванной своей жизни, Карл Мария Арнгейм служил в Атрибутивном департаменте как раз неподалеку отсюда, в том же квартале. «Да, — подумалось Фиктору, — каждый из них однажды свернул с пути, по которому собирался идти до последнего дня своей жизни, никуда не сворачивая, но вот почему-то свернул... Что это, похоже, старый Арнгейм влияет на меня», — он усмехнулся.

— Ах, да ведь вы же музыкант! Так спойте нам что-нибудь, — встрепенулся Арнгейм, меняя тему.

— Нет, вы забыли. Я не музыкант, я музыковед и музыкальный критик.

— Что ж, тем более спойте! Тем более! Раз музыковед, значит — спойте!

— Но я не умею, совсем не умею.

— Как так, а зачем же говорите, что умеете, — мягко упрекнул Фиктора Арнгейм. — Ничего не хотите сделать полезного. И почки даже... Но стойте!! Стойте, я вас научу, мы споем!

— Да почему же я должен петь, именно я? Ведь вот брата моего вы не заставляете петь почему-то? — искренне удивился Фиктор Ф.

— Но ведь ваш брат и не говорит, что он музыковед. Он ведь ничего, ничего не сказал.

Мерриль и в самом деле ничего не сказал. Его восковое лицо словно навсегда озябло. Светлые волосы легким туманом парили над его бедной головой; старик Арнгейм, беспокойно привскочив со стула, задел цветущую ветвь абрикоса, и на лицо и плечи Мерриля просыпалась пригоршня очаровательных трепещущих созданий. Мерриль вздохнул. Мерриль прикрыл и снова открыл глаза. По-прежнему лишь невидимое отражалось в них.

Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säusen und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden,
An allen Enden.*

* Липовые ароматы пробуждены,
День и ночь веют они,
Дышат, и веют и летят они
Во все концы земли—

— пел, вытягивая младенчески морщинистую шею, Арнгейм. Все это было просто поразительно, несмотря даже на то, что происходило в сумасшедшем доме. Фиктор, который не видел своего брата около года, чувствовал острую, сладкую боль оттого, что видел его вновь, по-прежнему отрешенного, бестрепетного, облаченного в уродливый балахон больного, но это был его брат и имя ему было прежнее — Мерриль.

— Пойте же, музыковед! Пойте! — приказал Арнгейм. и Фиктор Ф — почему бы и нет, в самом деле? — запел вместе с ним, как уж он умел, фикторским своим непетым голосом.

O. frischer Duft! O, neuer Klang!
 O, neuer Klang!
 Nun, armes Herze, sei nicht Bang!
 Nun, muß sich *alles*,
Alles wenden,
 Nun muß sich *alles*
Alles wenden!! *

VI

Полагается ли музыкальному критику петь? Или, скажем, играть на свирели? Очевидно, что нет. Отчего же тогда Фиктор Ф подчинился безумной логике бывшего чиновника Атрибутивного департамента?

Слышать себя поющим было ему, однако, совершенно внове, это престранно повлияло на него, как если бы самое вещество его рассудительного существа, подвергнутое непривычной реакции, под влиянием этой реакции вдруг видоизменилось. Взбалмошный Арнгейм и неподвижный Мерриль, да и все эти странные люди в этом странном саду. Обманчивый покой золотистого воздуха, незримо пронизанный зыбкими токами, чуткими волнами.

— Мерриль, — обратился Фиктор к брату, когда их с Арнгеймом неожиданное сентиментальное музицирование наконец закончилось, — Мерриль, я ведь знаю, что все понимаешь и все помнишь. Помнишь наш ковер, и твоего заблудшего оленя, и моих четверых; и — маму, и — нас. Не хочешь говорить со мной, ну, ладно, что поделаешь! Но мне нужно, чтоб ты знал — я одинокий человек, я, может быть, также одинок, как и ты, вы все меня покинули. Я, впрочем, привык и тебя не упрекаю, это было бы просто

* О свежий дух! О новый звук!
 Забудь же боть бедное сердечко
 Теперь все изменится
 все будет иначе
 все, все преобразится!

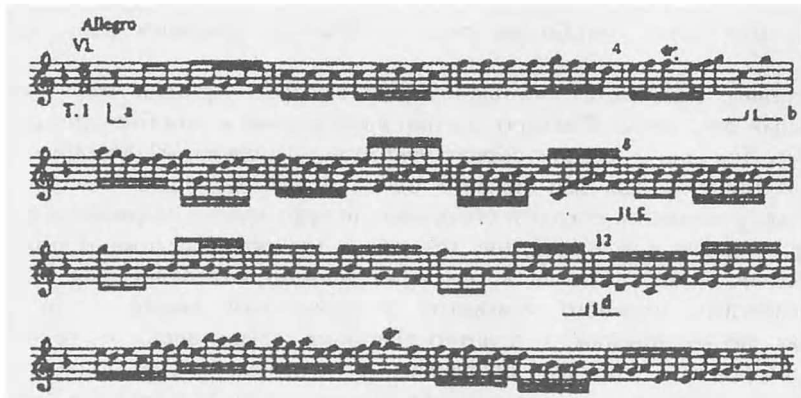
глупо. Но мне нужно, чтобы ты знал, — Фиктор удивлялся тому, что говорит.

Мерриль, разумеется, не шелохнулся в ответ. Арнгейм же, тоже выслушавший откровения Фиктора, закрыл лицо руками и скорбно застыл в такой позе. Так они и сидели перед Фиктором — недвижимый Мерриль и недвижимый Арнгейм, как два аспекта одной и той же идеи. Фиктор в растерянности огляделся вокруг и обнаружил (и куда только подевались все санитары! — после выяснилось, что как раз в тот роковой момент почти весь персонал дома собрался в одном из дальних отделений для того, чтобы поздравить главного психиатра с рождением внука) — их с Арнгеймом пенье привлекло заинтересованных слушателей, и сейчас Фиктор, Мерриль и Арнгейм находились в плотном кольце пациентов сумасшедшего дома, явно ожидавших продолжения; жадное ожидание было написано на всех лицах, о, эти лица! Как мало они походили на лица людей, среди которых проходила обычная жизнь музыковеда и музыкального критика! Ему показалось, что он попал на другую планету. Ему показалось, что он странен в своей посторонней одежде и сущности среди облаченных в голубоватые просторные одеяния существ, олицетворявших каждый свою и все вместе некую общую, в свою очередь ему, Фиктору, невнятную идею: не от мира сего был он.

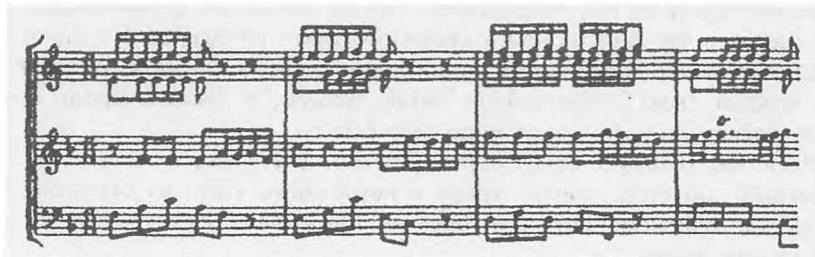
Идея же, которую олицетворял Фиктор, улетучилась, словно и не было никакой, он стал... никто, чужой и неуместный; один из окружающих его существ, впрочем, был его братом Меррилем, однако это лишь осложняло положение.

Между тем, круг становился все уже, это задние напирали на стоящих впереди. Сердце выпало из Фикторовой груди и гулко стукнулось о землю у его ног. Он обмер и невольно схватился за опустевшую грудь; рука его наткнулась на что-то твердое в нагрудном кармане пальто — то был портативный японский магнитофон, с которым Фиктор не расставался, в магнитофоне стояла кассета с записью Бранденбургских концертов. «Вот, — озарила Фиктора счастливая, как ему представилось, догадка, — вот она, моя идея. Вот чем я могу ответить им на их ожидание.» Торопливо извлек он черную машинку из кармана, показал ее всем присутствующим — им владело какое-то лихорадочное вдохновение — и нажал кнопку. Магнитофон был миниатюрный, но необыкновенно мощный, музыка, вырвавшаяся из него в сад, грянула мощно и патетически. Глухие стены, окружавшие больничный сад, усиливали звучание магнитофона, резонируя, подобно горному ущелью, так что музыка неслась от стены к стене, взмывала ввысь и возвращалась назад с удвоенной мощью. Это было Allegro из Первого концерта, то, о котором в книге Фиктора говорилось:

«Трудно представить себе более совершенное звуковое воплощение неударяемого земного веселья — это, несомненно, достигается пересекаясь, как в шутовском споре, звучанием энергичной звуковой темы.



с еще более энергичными восклицаниями призывно звучащих горнов:



Основное настроение *Allegro* — здоровая бодрость, и здесь мы снова желали бы подчеркнуть посюсторонний, жизнеутверждающий, подвижно-деятельный общий пафос быстрых тем Бранденбургских концертов; образность их всегда конкретная, почти всегда бытовая, но это отнюдь не признак ограниченности, а здоровое, оптимистическое восприятие реальности! Такова наша концепция, в правоте которой может убедиться всякий, кто даст себе труд проанализировать собственные психические реакции на эту музыку и в частности на данное *Allegro*.

Того, что произошло в следующие несколько минут, не забудет Фиктор Ф. до конца своих дней.

...Как горный ветер пролетает по листьям, пролетели звуки по лицам, листья-лица открылись и трепетно, светло засверкали, отражая свет и ветер несущихся звуков подобно серебристым зеркалам. Круг рассыпался. Люди понеслись в порывистом танце, кружась и размахивая руками, некоторые мчались, подпрыгивали и парили над землей на раздувшихся парусах длиннополых своих балахонов, иные же, взявшись за руки, вили стремительный хоровод между деревьями; мелькали юные и старые лики, преоброженные, блаженные, то было блаженство неземное и

неизреченное, подобно смеху бессмертных духов в горных высотах!

И, воздев руки к небу, засыпаемый снегом лепестков, старец Арнгейм воззвал и возгласил:

— Ангелы! Летят Ангелы! Вот они летят!

— Ангелы! Ангелы! Летят Ангелы! —

— подхватили остальные и, ответствуя горнам горных высот, тихий сад сумасшедшего дома огласили жаркие крики, ликующий смех и экстаические рыдания; трудно было поверить, что человеческие существа способны издавать такие страстные звуки.

Но по саду уже неслись, белея халатами, санитары и врачи; ну, эти-то лица были Фиктору привычны, плевать они хотели на ангелов. Началась свалка. Те, которые не видели никаких ангелов, хватали, ломали, вязали видящих, видящие же, под напором жестокой силы, осыпаемые ударами, сопротивлялись из последних сил, продолжая видеть и смеяться навстречу ангелам, летящим с небес блистающей дружиной — ибо Фиктор все держал в руке магнитофончик, и Allegro все звучало. Но вот последние его аккорды, дружина ангелов взметнулась ввысь и исчезла, поглощенная сиянием. На земле остались лишь люди, бессильные сбросить проклятие неволи, но яростно стремящиеся вослед исчезнувшему видению.

Фиктор глядел на Мерриля. Посреди неустойчивой битвы остался тот недвижим, и бесчувствие светлого зора брата ужаснуло музыковеда, слезы хлынули из его глаз, в отчаянном порыве схватил он брата за плечи, затряс, словно безжизненную куклу:

— О, Мерриль! Мерриль! Да очнись же ты! Неужели ты — только призрак, неужели ты... — И вдруг почувствовал, что тело, которое он трясет, каменеет в страшной судороге; пораженный, отступил он назад и увидел — бледные губы Мерриля дрогнули, медленно, медленно приоткрылись, и розоватая пена, вскипая, выступила на них.

VII

Вот, собственно, что произошло с нашим героем, музыкальным критиком Фиктором Ф., который в начале нашего рассказа задумчиво шел по вымощенной ровными кирпичиками кромке первой фразы, заложив руки за спину и слегка сощурясь от ласки весеннего солнца. Солнце это теперь уже потускнело, и невидимый осветитель опускает по небу огромный остывающий шар, в то время как внизу поспешно и бесцеремонно разбирают декорации, гулко хлопают дверьми, гремят ключами в зубастых замках. Три белых пластиковых стула лежат, опрокинутые, под абрикосовым деревом, наполовину растерявшим бумажные цветки. Поодаль в траве

раздавленным грибом тускло краснеется шляпа, сбитая с Фикторовой головы в суматохе предпоследней картины последнего акта. А вот и последняя. с непокрытой головой, в растерзанном пальто, затравленно озирающийся, кто это выходит за ворота парка сумасшедшего дома? Да ну Фиктор же, разумеется.

У ворот парка сумасшедшего дома, прежде, чем сделав шаг, оказаться в прежнем своем мире, Фиктор Ф. остановился «Что такое, господин? Забыли, что ль, у нас что-нибудь?» — ухмыльнулся провожатый Фиктора, дюжий детина с обтянутым пленчатой кожей окороком сытой физиономии. Фиктор оторвал взгляд от зарешеченных окон верхнего этажа. Внезапно сквозь несущиеся оттуда стоны, рыдания и хохот узников, сливавшиеся в единый яростный гул, ему вдруг отчетливо услышался высокий голос Арнгейма. «АНГЕЛЫ!!! АЛЛИЛУЙЯ!!!»

Фиктор зябко запахнул полы растерзанного пальто и, не взглянув на санитаря, вышел наружу.

Он удалялся от пределов парка сумасшедшего дома поспешным, почти бегущим шагом. Небо, уже зачехленное ветхой мешковиной туч, дышало промозглой сыростью. Особняки официального квартала, который он торопился миновать, бестолково теснились, кренясь во все стороны, на его пути — он едва пробирался между них; в неоспоримые истины, лишь недавно развевавшиеся по ветру подобно ярким флагам, унылыми космотями грязного городского тумана свисали с голых и кривых ветвей, унылее, чем сидящие тут и там на деревьях вялые вороны в драных фраках.

На музыкальном бульваре бюст Баха надменно отвернулся от Фиктора, показывая сутулую жирную спину, напоминавшую суконную спину настройщика роялей Сууссона — колосс не колосс, разбухший инвалид-обрубок на шесте, безобразное академическое пугало. Фиктор уставился на него так, словно видел впервые. «Сущность нашей концепции аппелирует к парадоксальному, но неоспоримому афоризму о *простоте* гениального», — вспомнил он, и его едва не стошнило от стыда, и сам себе он вдруг показался такой же, как этот безобразный памятник, кощунственной подделкой.

«Я, наверное, ничего не смыслю в музыке. Я, наверное, никогда больше не смогу написать что-нибудь о музыке.. Мне казалось, я принадлежу к тем избранным, кто познали ее сущность, и это дает мне и таким, как я, право использовать свое знание как преимущество. В конце концов все признавали за мною это преимущество. Оно меня недурно кормило. Оно определило мою карьеру»

«А когда же, собственно, я уверился в том, что обладаю этим преимуществом? Тогда ли, когда были опубликованы мои первые статьи, а затем аннотации к дискам моей жены? Или еще раньше, когда я, прилежно проштудировав *Musikwissenschaft*, положенные пять курсов, окончил последний и получил лучший в выпуске диплом?»

Или, может быть, это произошло уже тогда, когда я, мальчишка,

внимал обстоятельной игре почтенного Суусосона; не правда ль, игра его вызывала во мне ощущения самые приятные — упорядоченная размеренность и вразумительная отчетливость фраз, неспешное восхождение и нисхождение по отлично выскобленной лестнице, каждый пролет и поворот отмечаем одобрительным побрякиванием — все это мне так нравилось! Не то что нервные пассажи матери, то замиравшей над клавиатурой, как бы — умиравшей, то низко склонявшей искаженное мучительной гримасой лицо к стонущим клавишам, словно стремясь разделить их муку; она всегда мчалась к роялю стремглав, как если бы рояль был живым существом, ожидавшим ее прикосновения, или как если бы она сама должна была во что бы то ни стало коснуться его. Такое лицо бывало у нее и тогда, когда в комнату входил он, так же срывалась она с места, бросив все, чем сейчас была занята, и летела к нему навстречу... Нет-нет, игра матери решительно утомляла и озадачивала меня, и я не любил смотреть на нее, когда она играла».

Налетевший откуда ни возьмись пронзительный, не по-весеннему колючий ветер смел последние остатки пригожего глянца давешнего дня; он гнал по бульвару уличный мусор, толкал прохожих в спину, но Фиктор даже не замечал его толчков — запрокинув растерянное лицо, заглядывал снизу в лицо бронзового истукана, чей лоснящийся свежевывищенный подбородок был натуралистично двухступенчат.

Тут мимо Фиктора, громко ругаясь друг с другом, прошли двое русских, русского Фиктор не знал, однако из разговора можно было заключить, что одного из них зовут Нефиг, а второго Нафиг. Возле памятника они остановились и, непрерывно окликавая друг друга по имени, принялись обсуждать его достоинства. Один из них подмигнул Фиктору, покрутил распряленной ручищей в воздухе в знак приветствия и произнес: «Йоган Себастьян. .» — вместо «Бах» Нефиг и Нафиг одновременно звонко бахнули в ладоши, звук получился такой взрывной, что Фиктор невольно подпрыгнул от неожиданности. Русские, довольные шуткой, загоготали, схватившись за бока и приседая.

«Да, нет, карашо», — пробормотал Фиктор единственные известные ему русские слова, почему-то выхватил из кармана свой злополучный магнитофон с записью Бранденбургских концертов, сунул его в лапу одного из русских и заспешил прочь, не оглядываясь на пришедших в совершенно неопиcуемый восторг Не- и Нафига.

Он свернул с Музыкального бульвара на горбатый городской мост, все еще довольно людный, высоко висящий над довольно мутной, задыхающейся в узких гранитных берегах рекой. Отсюда хорошо был виден рассеченный запекшимся шрамом реки город, Фиктор прожил в этом городе почти всю свою жизнь — за исключением нескольких лет, проведенных в Берлине и еще нескольких — в Голландии. Еще сегодня утром это был знакомый и понятный город, знавший его, Фиктора, привычки и пристрастия, вмещавший в себя его удобно сложенное из

хорошо притертых к друг другу блоков бытие. Сейчас Фиктор с ужасом глядел на его контуры, расплывшиеся в стремительном уплотнявшемся тумане. Сумасшествие мира проступало повсюду: сквозь стены домов, сквозь лица спящих по мосту мимо Фиктора людей, сквозь расплывающиеся контуры города — совсем как розоватая пена давеча на губах Мерриля; то было самодовольное, беспросветное и... безнадежное сумасшествие.

Как я мог быть счастлив, доволен, устроен *здесь?*! — с тоскливой тревогой спрашивал себя музыковед на мосту. — Как я мог не сойти с ума в этом призрачном мире от его безумной относительности, от лошлости моих собственных бредовых «музыкальных семинаров», от относительности моих собственных чувств — я ведь, например, никогда не сострадал никому по-настоящему, а если бы, если бы только мог, то мое сердце разорвалось бы на куски от концентрации страдания в этом городе, так, как оно рвется сейчас, когда я стою на этом мосту и не знаю, с какого берега я пришел и к какому направляюсь. Я ведь не сострадал брату моему. Как мог я быть доволен и устроен 20 лет, если брат мой...»

И если мог, — сказал себе Фиктор Ф., стремительно приближающийся к пределу, за которым оборвется недолгая нить нашего рассказа — если не устало глухое сердце, то, значит, вы, господин музыкальный критик, просто-напросто часть и узник этого мира, на ожиревшем теле которого так называемая культура, этот суррогат истинного искусства, болтается дешевой побрякушкой фальшивого ожерелья. Этот сумасшедший мир неодухотворим. Он глух и слеп, как червь, к страданию и к красоте...

«Восхитительная тишина зрительного зала, благоговейное молчание потрясенных слушателей — друзья мои, где блуждали ваши души, пока звучало на волнах нашей радиостанции... — все, что угодно. Сейчас же, однако, я предлагаю им благополучно возвратиться в свои тела, ибо искусство, вопреки известному мнению, длится краткий миг и проходит, оно — лишь часть, весьма ценная часть нашей долгой, хотя и не вечной, увы, жизни».

Если бы я умел *адекватно* реагировать на искусство, так, как это сегодня было у Мерриля, как это сумел Мерриль, как это умеют *они*, блаженные — в нищете ли?! — духа своего, то...

...то тогда бы, конечно, я не мог бы быть музыкальным критиком. Никто бы не признавал меня таковым. И вообще я бы живо оказался там же, где оказался Мерриль, «так что сложно было бы». Жребий Мерриля ужасен. Это же ясно, что может быть ужаснее такого жребия? И, однако, я испытываю едва ли не зависть *к ним*, к ним и к Меррилю тоже. Ах, Мерриль! Ах, маленький хитрец! Похоже, что именно твой, пятый олень, едва различимый в чаще, и был — *самым главным*. В него, в него нужно было верить! Им нужно было владеть, и тогда вся жизнь...

...вот именно, вся жизнь пошла бы кувирком. Фиктор Ф. проглотил сгусток горечи, холодной отравой разлившийся в груди, и начал спускаться

с моста в город. Хищно раскинув острые крылья, обдавая Фиктора презрительным хохотом, крупная чайка белою тенью крутилась в воздухе вокруг его головы. Жан — звали предполагаемого отца Мерриля. Мария — звали мать. Не останется безымянным и отец Фиктора — мало мы о нем помним, но имя его было Абогиниур Ф. Меня зовут ... я, во всяком случае, воображаю, что меня так зовут. Я прошу моих героев чуть расступиться, чтобы на готовящемся последнем, общем семейном снимке — под светлым пологом цветущего абрикоса — и для меня тоже нашлось место. Такой снимок, может быть, и не очень-то возможен, так же как и мое присутствие на нем. Но если бы он все-таки получился, то мы бы увидели всех шестерых так, как мне видится — четверых взрослых и двоих мальчиков; тот, что постарше, твердощекий медвежонок, держится поближе к черноволосому тучному человеку с болезненным лицом; светловолосого малыша, зачарованно глядящего вдаль, держит на руках развеселый *мон ами* с простодушным взором; взор же молодой женщины в воланном платье с узким поясом, соединяющим звеном стоящей посередине группы — тепл, как лучший день раннего мая, и улыбка легкомысленным мотыльком трепещет на ее устах. Они-таки совершенно заслонили меня, ну да Бог с ними, пора уж оставить их, наконец

Под небом, беспечально голубым,

Под деревом, струящим белый дым,

Под сенью крыл, слетающих подчас

В земной предел, дабы утешить нас...

Сентябрь 1992

Берлин

Шарлоттенбург



Светлана Васильева

Вечная Жена Чекиста

...А может, мы просто не узнаем друг друга и, не узнав, хорошо поговорим по душам — о погоде на завтра. Нам просто больше не о чем будет молчать и незачем не видеть друг друга. Ну, написала я в то лето какую-то там интимную лирику типа „но имя твое, словно птицу из рук, мне так не хотелось на взлет отпускать, один только круг и подхватит его родимых небес переплывающая рать...“ Так разве, положила руку на сердце, я это ему написала?

И отмыслить мне было, конечно, вовсе не по этому поводу. Хотя было оно, заметьте, как раз со стороны птиц! В тот самый момент, когда я еще ни о чем не догадывалась и была так счастлива, горда и весела, как та же самая птичка.

В то утро море было особенно величавым и спокойным, а из-за горизонта, как я это особенно люблю и уважаю, прямо в меня, в мои смеженные сном глаза входил огромный трехъярусный корабль. Корабль-дворец, корабль-жизнь, как в фильме Феллини, помните? И над красной его трубой, представьте, вился черный-черный дым — я этому так обрадовалась, потому что именно этой ночью написала очередную интимную лирику и там точь-в-точь и про черный дым над красной трубой, и про волн роковую игру, и про то, как я просыпаюсь под утро, со мною кто-то, и мы видим из окна, как в гавань торжественно входит корабль...

Далее весь день складывался для меня под знаком качества и счастья. Соленые брызги, пивная пена, чебуреки с мясом, ненавязчивое солнце, проявляющееся стойким зимним загаром,

шутки товарищей по смежному цеху, удавы и обезьяны на набережной, чтобы можно было сняться с ними в обнимку на память, на фоне вышеобозначенного лайнера „Санта Регина“ из Палермо — словно ты вовсе уже иностранец в родном отечестве. Привычный крымский фон совершенно слился с чужеродством, и так органично выпадаешь из всего этого, будто тебя вообще нет. Не твое это изображение, а чье-то другое... И тогда я совершила главный свой поступок, быть может, за всю мою жизнь. Мне давно этого хотелось в последнее время, но как-то недоставало обыкновенной женской решимости. Это казалось так дико, так страшно. А вышло совсем-совсем просто. Толкнула стеклянную дверь — и вошла. Он сразу понял все: женщина решилась, — сверкнул металлическим острием, взмахнул лапами белого одеяния. Ну-с, профессионально прошипел он над моей бедной головою, и я, вобрав ее в плечи, выдохнула: „Хочу, как Мадонна...“ он опять сразу же все понял — видимо не я первая, не я последняя. Стал быстро-быстро стричь, подбривать, красить, больно закручивать тонкие пряди на костяные палочки. Ничего-ничего, утешалась я, терпя до слез, Мадонна тоже не сразу нашла свою внешность Мэрилин Монро, как сказал по телевизору лектор. В юности она была черной вороной, совсем как я теперь. Ничего-го!.. Когда я открыла глаза и заглянула в зеркало, на меня оттуда посмотрело чье-то не мое лицо. Кожа цвета пергамента оттенялась платиновым ореолом волос, шевелящимся под феном, как змеи на голове Медузы Горгоны. Под ними, о ужас, сияли светлые, холодно-шалые глаза, хотя у меня, я могу поклясться, глаза всегда были коричневого цвета опавших желудей. Даже бюст мой стал теперь бюстом Мадонны. То была определенно не я, а мой сверкающий негатив, вдруг выплывший из вороха непроявленных пленок, чужих скомканных писем и всяческого ненужного жизненного мусора. То была не я. Но именно такой и только такой я могла быть нужной, любимой и желанной навеки — здесь, под этим солнцем, мой мальчик в курточке мог бы взять меня себе в вечные жены, взять прямо так, там, под островерхими кипарисами, под вечную музыку прибой, на самом глубоком темном дне опрокинутой горной чаши, полной ночных огней, человеческого смеха и вселенского греха...

Когда я, счастливая и довольная, открыла дверь своего номера, моим глазам предстало зрелище поистине ужасное! Ужасное и в высшей степени оскорбительное. Поверьте, я не была бы так оскорблена, если бы застала у себя следы разгрома от самого беспардонного обыска. Или же, например, нашла в своем непорочном белье грязный мужской волос. То, что я увидела, было совсем-совсем другое... Прямо на меня из взлелеянного трудами и негой пространства комнаты вылетели два голубка и чуть ли не сели мне на светящуюся голову. А

когда я в каком-то мистическом ужасе прикрылась локтем, вместо запаха курортного счастья мне в нос ударило нечто оскорбительное и аморальное. Когда я окончательно открыла глаза, то увидела: все в комнате — густошерстный махровый ковер, замечательный раскладной диван, покрывало кровати, настольная лампа на письменном столе, тетрадь, в которой я еще недавно выводила слова любви и благодарности, даже игрушки, купленные для моего ангелочка (хоть он сильно за последнее время вырос, я до сих пор люблю покупать ему детские игрушки) — все-все оказалось заляпанным отвратительными бурыми пятнами..

Ко всему я, признаться, всегда готова как внучка, дочь и жена старого Чекиста. (То есть, разумеется, он был не один, а их было трое: дед, отец, муж). И не впервой мне, однако, чистить любые авгиевы конюшни. Ибо одной из характерных черт нашей женщины я до сих пор считаю основное умение прямо в царских соболях грохнуть на пол и начать скрести пол в подтеках грязи и слизи, а так же заодно — и своего любимого, обосранного мужчину. Без этого мы, ВЖЧ, никуда и никогда. Уж слава богу, ко всему я с детства привыкла, могла замести следы так, что родители никогда не догадывались, что без них происходило в их драгоценной трехкомнатной квартире с дополнительной комнатой-шкафом для переодеваний. Лишь раз маменька откопала мой дневник и зачитала вслух что-то про дымок от сигареты, исходящий из любимого рта прямо мне в ротик; некто с мокрым детским ртом и вправду под покровом ночи являлся в наши пенаты, в синем стареньком бушлате, и пальцы его то и дело липнули то ко мне, то к гитарным струнам. „Сизый лети голубок, в небо лети голубое, ах, если б тоже мне крылья пожаловал Бог, я б улетел за тобою!“ (Слова и музыка барда Е.Бачурина).

На „бушлат“ тут же накатали скрипучую телегу в деканат, а меня, надавав мне предварительно по морде, вытолкали за этого старого заслуженного маразматика, подъезжавшего к соседней даче на черной „Волге“, — в результате сбылась мамина вековая мечта, и вскоре между двумя виллами был построен золотой мост, где вся семья по вечерам пила английский чай с сахаром внакладку. И если б он, мой благоверный, не погорел синим огнем где-то там на Ближнем Востоке, быть бы мне до сих пор в подвешенном состоянии неравного брака. Ну уж и запивала я тогда, ну и колобродила с подружками-художницами, добиваясь полного равенства с окружающим дерьмом, так что даже мои взрослые неродные дети ахали и охали (пьяная мать — горе семьи, пьяная мачеха — предмет благородного негодования). Дело прошлое, теперь я в полной завязке. Теперешний мой благоверный муж, бывший, кстати, подчиненный моего первого благоверного (достался по праву наследства, как переходящее красное

знамя), отслужив свое в Академии, ныне вполне прилично устроен на временную работу в фонде имени кого-то. А что делать? „Мне на плечи кидается век-Горбачев“, — как сказано у какого-то современного классика.

Так вот, при всем своем плачевно-оптимистическом опыте я никак не могла бы подумать, что гордая птица мира голубь способна на такое безобразие! То, что они приворовывают на помойках, еще куда ни шло. В конце концов, люди-старухи тоже там роются и, говорят, именно там и находят. Жизнь. Вид странно убогих голубятен тоже никогда не вызывал во мне должного отвращения при виде перманентной птичьей ебли. Скорее наоборот, какие-то ностальгические ощущения возникали, так как во дворе, где я выросла и похоронила свою любимую кошку, было полно на крышах таких вот святых борделей. Не следовало принимать во внимание также и то, что любое появление птицы-голубя в пределах жилой комнаты таит в себе угрозу и обещает чью-нибудь гибель... Но чтобы за каких-то три-четыре часа одна возлюбленная парочка сумела засрать все! к этому я, извините, совершенно не была готова. Это уже предел.

Целых пятнадцать минут длились мои рыдания, а потом еще два часа я ползала на своих прекрасных, хотя и несколько оплывших, как свечечки, коленках с грязной и уже не отмывающей тряпкой в руках, размазывая слезы и вонючую жижу. Два часа дышала на святые, дорогие игрушки моего сыночка, а также на не менее ценные слова в тетради, которую я заполняю на досуге в свободное от служению семейному очагу время.

Все вспомнилось мне в тот момент, вся моя горько-сладкая жизнь, все унижения и слезы и, конечно же, он, он, он — мой бывшенький обосранный синий бушлатик. Он и сейчас иногда звонит мне, чтобы по телефону слегка кончить под мой хриплый, заспанный голос, а также пропеть какую-нибудь очередную песенку. И то ли потому, что всегда в это время ночь, я, когда-то любившая, готовая отдать жизнь и больше, предавшая, растоптавшая первую любовь свою — я слушаю и не слышу, вспоминаю и не могу вспомнить. Я не чувствую и не вижу ровным счетом ничего, будто мне всю внутренность выхолостили прозрачно-ядовитыми кристалликами карлсбадской соли. (мы с мужем отдыхали в Карлсбаде три года назад, видели там дивный фарфорово-синий алтарь). О подлый, подлый, страшный мир! Зачем ты не оставляешь нам даже тени воспоминания о любви. Зачем лишь любовь сегодняшнюю даешь, такую желанную и ненужную — к своему чаду, к своему очагу, к своему темному и жадному лону, а любви прошедшей для нас нет. Почему она, я вас спрашиваю, никогда мне не снится, бедная первая любовь моя — накрест перевязанная кроваво-красной лентой, „как

бесценный ларец": почему мне снится лишь то, что снится, и сердце мое вновь расцветает на новой крови преступной, жалкой, сегодняшней страсти, рвущейся из груди глупой птицей мира, счастья и покоя?..

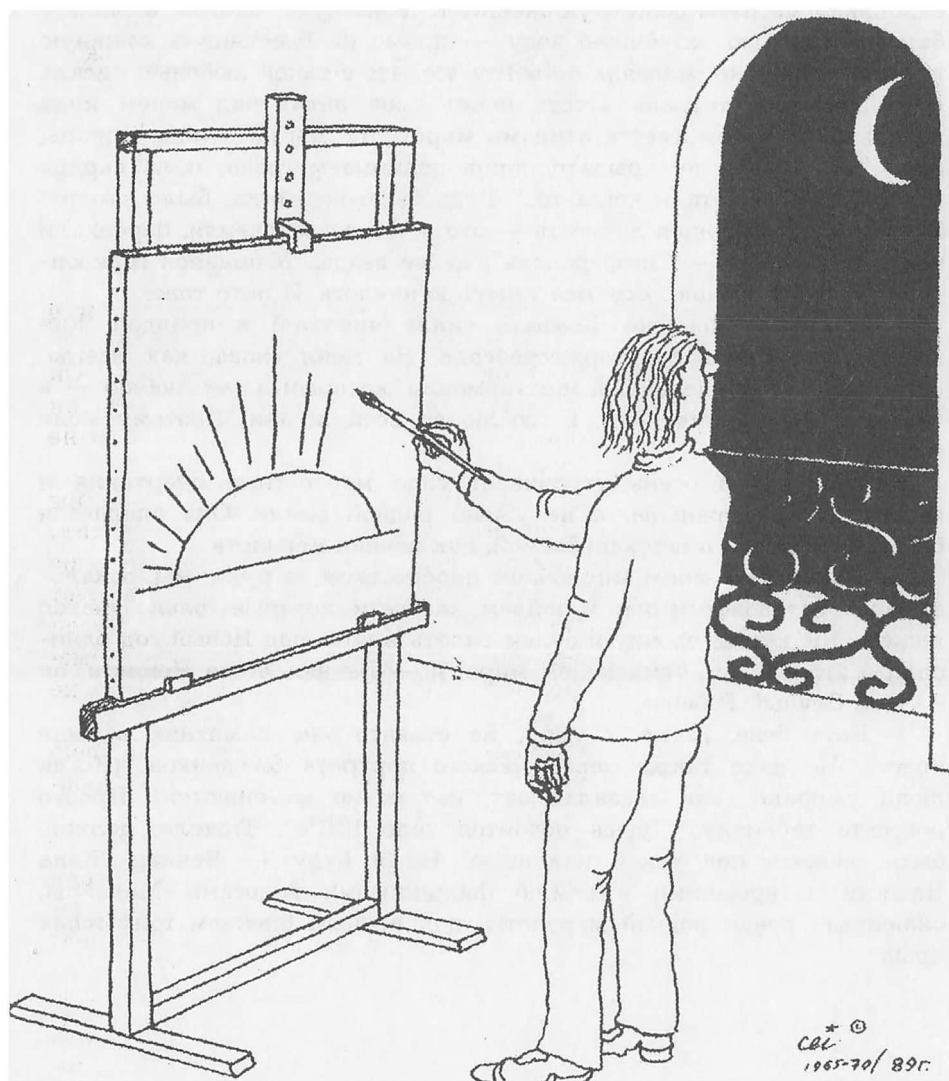
Вся моя жизнь так рельефно предстала передо мною одним сплошным месивом обид и унижений. Я даже чуть было не вылила с балкона грязную голубиную воду — прямо на блестящую кожаную курточку, чуть не развеяла по ветру все, что с такой любовью писала в ученическую тетрадь. Пусть пепел слов летит над морем куда подальше со всеми вместе птицами мира! „Да, мы не птицы, а жаль, жаль, что живем не крылато, лишь поднимаем глаза, и на сердце печаль, словно летали когда-то...“ Ведь было же тогда, было что-то... Жалкая, раздавленная личность — это я, мы ее раздавили, переехали поездом „Москва — Симферополь“, далее везде... Мчащаяся горизонталь счастья и покоя... Все. Все теперь кончилось. И лето тоже.

Все было кончено. Комната сияла чистотой и правдой. Как всегда, справедливость торжествовала. На меня снова, как всегда, снизошел тот вожденный миг гармонии, который я так люблю — я ведь только его, этот миг, и люблю во всей жизни! Поэтому меня никому не достать.

...Вот уж и осень утрачивает свои мерзостные очертания и завтра, встав пораньше, я не узнаю родной земли. Она делается блестящей, белой и непошибаемой, как вечная мерзлота.

Взявшись с моим ангелочком-переростком за руки, мы, оскальзываясь, осторожным шагом пойдём, как дети, которые только учатся ходить. Мы купим елочку и будем сидеть в ночь под Новый год одни-одни в этом белом, темнеющем мире: я — Вечная Жена Чекиста, он — Мой Вечный Ребенок.

Нота бене. Когда я умру, не ставьте мне памятник в виде креста. Не надо также керамического портрета блюдечком. (Когда люди умирают, как сказала поэт, все равно изменяются). Просто повесьте табличку: „Здесь покоится тело ВЖЧ“. Тяжело, должно быть, лежать под такой надписью! Но я буду — Вечная Жена Чекиста, с вросшими в землю фальшивыми волосами Мадонны, сияющими среди родной мерзлоты, под вечным биением голубиных крыл.



Эдуард Русаков.

Неизвестный художник

Чужая душа — потемки, но я ведь, как кошка, вижу и в темноте.

В нашем подъезде живет один неизвестный художник. Он такой неизвестный, что даже никто из соседей не знает, что он художник. Даже его собственная жена — не знает. Да и сам он не знает, что он художник. Он думает: просто так.

Он нигде не работает, сидит дома, занимается домашним хозяйством, возится с маленькой дочкой. Раньше он где-то служил, но после рождения ребенка они с женой решили, что надо одно из двух: либо жене уходить из института, где она, как-никак, заведует кафедрой обществоведения, либо ему уходить из конторы, где он ничем не заведует, а бог знает чем занимается, тратя много времени и зарабатывая совсем немного денег. Об яслях даже и не заикались — в яслях ребенок может заразиться любой болезнью.

И он с удовольствием пошел на эту жертву. Оставил свою контору и занялся домашним хозяйством. Жена, когда любопытные соседи спрашивали о муже, говорила полушутя:

— Он у нас теперь домашняя хозяйка.

И сам он, если слышал это, не обижался. Ведь жена не хотела его обидеть. А если кто-нибудь начинал над ним подтрунивать, он просто отворачивался и уходил в сторону. Потому что он знал: жена его любит, и дочь его любит, а все остальное его не очень-то волновало.

Он легко научился и быстро привык мыть полы, стирать белье, готовить завтраки, обеды и ужины (готовил вкусно), но особенно он любил заниматься с дочкой. Он даже старался как-нибудь побыстрее справляться со всеми домашними делами, чтобы

только побольше бы времени уделить своей девочке кудрявенькой и кареглазой. Он рассказывал ей всякие не очень страшные сказки, гулял с ней по городу, водил ее в цирк и зверинец, в театр на все детские спектакли, в кино на мультфильмы, — а особенно они любили (он и она) рисовать акварельными красками и цветными карандашами: сядут рядышком, высунут кончики языков, и рисуют, рисуют, рисуют. Ну, она-то, конечно, была совсем крошка и неумеха, и рисунки ее могли привлечь только детским своим кратковременным примитивизмом. А вот он — он был чудесный художник. На случайных листках, в блокнотах, альбомчиках и школьных тетрадках — он рисовал своей маленькой всякие дивные прелести: сказочных птиц и зверей, крылатых коней и красавцев-царевичей, спящих принцесс и косматых чудовищ, и просто так — вид из окна, интерьер, натюрморт, портрет любопытной дочурки, и просто картинки, картинки, картинки, картинки...

Ему казалось: просто так.

Дочке, конечно, нравилось.

Жена — внимания не обращала.

И только я, я один, сосед-одиночка, только я, случайно зашедший к нему однажды за солью, — обнаружил на кухне замасленный старый блокнот с чудесными рисунками, и немедленно понял: вот он, передо мной — настоящий художник.

Но я никому не скажу об этом. Ни-ко-му.

Я завидую.

Страшно завидую!

Потому что ведь я сам — неизвестный художник. Но я-то, в отличие от него, хочу стать известным. Я очень и очень хочу. А вот он, чужак, почему-то не хочет. Он хочет остаться домашней хозяйкой — и ему почему-то не стыдно.

Вот поэтому я ему так завидую — и никому никогда не рассказываю, какой он, к несчастью (к моему несчастью!) замечательный неизвестный художник.

г. Красноярск

Полковник Зверев

В квартире полковника Зверева окна всегда плотно закрыты шторами. Приходя домой, полковник Зверев аккуратно вытирает ноги о мягкий коврик возле двери, снимает башмаки, ставит их на специальную полочку под вешалкой, а меховые стельки кладет сушить на батарею. Неспеша моет руки, ставит на плитку чайник, кипятит воду, заваривает чай, ужинает. Сам готовит пищу. Он все делает сам, потому что у полковника Зверева нет ни жены, ни детей, никого. Да и сам он — в отставке, хотя по возрасту вполне мог бы еще служить. Говорят, какая-то смутная история в недавнем прошлом вынудила его уйти в отставку.

Полковник Зверев ест, неспеша, тщательно пережевывая кусочки мяса. Пьет крепкий чай.

Поев, он встает, вытирает со стола, моет посуду, убирает ее в буфет. Моет руки, тщательно вытирает полотенцем, потом протирает пальцы одеколоном. Стоя перед зеркалом, быстро приглаживает влажными от одеколona пальцами седые виски, морщит лоб, щурится.

Полковник Зверев прогуливается по квартире — по комнате, по коридору, по кухне, опять по коридору.

Он останавливается возле большой карты мира, висящей на стене в прихожей. Карта утыкана красными флажками. Эти флажки всюду — и в Африке, и в Соединенных Штатах, и даже в Австралии. Что означают эти флажки, знает только полковник Зверев.

— Весь мир насилья мы разрушим, — глухо произносит полковник Зверев, — до основания, а затем...

Тут его что-то отвлекает. Он подходит к входной двери, прислушивается — с лестничной площадки доносятся голоса: мужской и женский. Полковник брезгливо морщится: опять эти влюбленные. На цыпочках он идет на кухню, берет табуретку, на цыпочках же возвращается к двери, ставит табуретку, осторожно садится. Тихо дышит, прислушивается.

Те, за дверью, о чем-то спорят. На улице зима, мороз. На площадке темно, теплая батарея. Самое подходящее место для бездомных влюбленных. Полковник Зверев внимательно вслушива-

ется в нескончаемый спор-поединок, покачивает мудрой седой головой.

— Киса, чего ты хочешь? — бубнит мужской голос. — Ну, киса...

— Я тебе не киса! — женский голос звенит от обиды. — И кончай улыбаться! У, ненавижу... эта твоя блядская улыбка! Нет, все, хватит. Завтра же я уеду! Завтра же!

— Киса, да в чем же я виноват? Я тебя люблю, как перед алтарем клянусь: люблю!

«Это уже слишком, — изумляется полковник Зверев. — Насчет алтаря товарищ явно перестарался. Неужто она поверит?»

— Правда? Правда?.. — быстро шепчет она. — Повтори — любишь?

— Как перед алтарем, — нагло повторяет он и откашливается. Потом слышится влажный звук поцелуя и тяжелое дыхание.

— Эх, Толик... да если б ты меня уважал... если бы ты...

— Ну, киса, киса... ничего же не случилось... тем более, я ведь у тебя не первый...

— Ты второй! — воскликнула она. — В первый раз было совсем случайно, по пьянке, я не хотела... я потом чуть не повесилась.

«Какая пошлость», — думает полковник Зверев.

— Ты второй!

— Да хоть сто второй, — добродушно отвечает Толик. — Ну, поцелуй меня, кисуля...

— Толик, не обижай меня... меня так легко обидеть... я ранимая...

Полковник Зверев прикрыл рот ладонью — чтобы не рассмеяться.

Разговор за дверью замолк, полковник Зверев затаил дыхание — и услышал торопливое шуршание, шорох, шелковый шелест и сладкий стон.

Потом они ушли.

Полковник Зверев отнес табуретку на кухню. Остановился возле карты. Достал из кармана красный флажок, воткнул его в точку Южного полюса.

— Мы нац, мы новый мир построим, — строго произнес полковник Зверев.

Потом он прошел в комнату, медленно начал раздеваться. Сняв всю одежду, полковник Зверев подошел к платяному шкафу и торжественно распахнул дверцы. Достал розовую шелковую дамскую комбинацию, прижал ее к губам, потом — надел. Ощутив прикосновение нежного шелка к своему телу, полковник Зверев передернулся от вожделения. Потом так же торжественно вынул из

шкафа розовые шелковые панталоны, так же медленно надел их, расправил, погладил себя по бедрам, прикрыл глаза, отдышался, неслышно шевельнул губами — будто тихо молился.

Потом снял с вешалки белую блузку, быстро надел ее. Возбуждение нарастало — и полковник Зверев был не в силах выдержать медленный темп.

«Где же юбка? — прошептал он, роясь в шкафу. — Где моя юбочка? Ах, вот она... вот... моя славная, нежная, любимая, драгоценная юбочка!..»

Колени его подкашивались. Дрожащими руками он затянул молнию на юбке, пригладил складки. Вдохнул.

Подошел к зеркалу, посмотрел на свое отражение, смущенно улыбнулся. Ему хотелось петь. Еле сдерживался.

«Как хорошо — быть одному, — прошептал полковник Зверев, — как мне хорошо... боже ты мой... как я счастлив! Ради всего святого, не трогайте меня... не приставайте!.. Ведь я никого не трогаю, не обманываю, не обижаю... И мне так хорошо, так спокойно, — шептал он, нежно поглаживая себя, лаская свою одежду, бережно поправляя кружевной воротничок белой блузки. — Неужели когда-то я носил грубую жесткую форму?.. папаху, сапоги?! Неужели когда-то я жил под одной крышей с мерзкой женщиной, которая нарожала мне мерзких детей?.. О, мой боже! Оставь мне мое блаженство, не отнимай этот рай, будь милостив... очень тебя прошу!..»

Шторы были плотно задернуты.

За окном шумели троллейбусы, смеялись дети, плакали женщины, пели мужчины. За окном клубилась чужая пестрая жизнь, там сосуществовали самые разные люди, и немногие из них были счастливы так, как полковник Зверев.

г. Красноярск

Слово «Сибирь» у подавляющего числа просвещенной публики вызывает определенные ассоциации. С одной стороны — «Бродяга Байкол переехал, там золото роют в горах», мороз, спирт, пельмени, Джек Лондон. С другой — ГУЛАГ, концентрационные вышки по всему этому «зеленому морю тойги» до космической потаенной дурь.

Эдуард Русаков, самый, пожалуй, известный из новых сибирских писателей, ныне широко печатающийся, переведенный на многие языки, напоминает, что Сибирь — это прежде всего люди, и живут они зачастую не среди вольной природы, а в дымных, грязноватых городах, которые они «обустроили» с помощью советской власти, и где сойти с ума гораздо легче, чем осуществить подвиг разумного и достойного человеческого существования.

Пластика смутного времени

Марина Романовская родилась и живет в Москве. Окончила Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова.

Член Московского союза художников.

Произведения находятся в Государственной Третьяковской Галерее (Москва) и других музеях страны, а также в Музее Петра Людвига (Германия), Музее изобразительного искусства г. Сеула (Южная Корея) и в частных собраниях США, Франции, Англии, Германии.

Участница более 50 Всесоюзных и международных выставок.



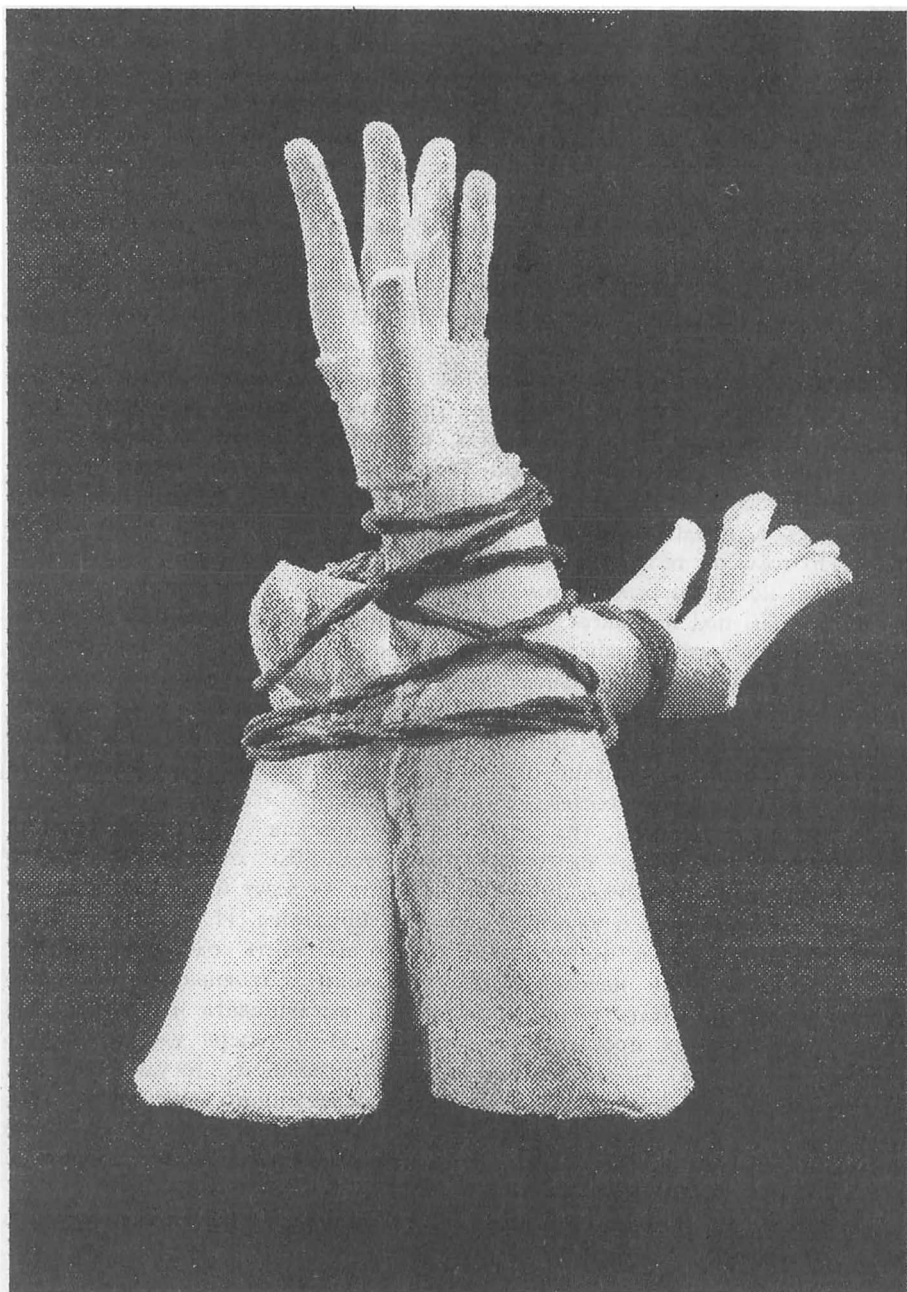
Искусство Марины Романовской в застойные и даже в свежеперестроечные годы всегда подозревали в неблагонадежности. Ее тревожная пластика лишала чиновных обывателей вождя идеального покоя и формального благополучия. Достаточно было появиться в экспозиции какой-нибудь хоровой московской выставки невинным романовским „подушкам“ или иной пластической малости, как кругами по воде расходились ответственные мнения о „формалистических вывертах“, „левизне“, „заумности“ и так далее. И, чего греха таить, складывались целые группы художников, носивших на себе незримые знаки левацкого избранничества. Увы, это также была форма застойного окостенения, не способствующая нормальному развитию искусства. Между тем Романовская, сколько бы на нее ни навешивали ярлыков, неизменно была „в ладу с собой и заодно с миропорядком“. И, что очень важно, в ее мастерской всегда было очень много новых работ. Превратности времени никогда не могли отменить главного дела ее жизни — творчества.

В мастерской Романовской главенствуют три композиции, объединенные одним названием: „Я, Герой и мой загадочный народ“. Наиболее драматичен во всей пластической триаде персонаж, которого автор именует „Героем“. Причем в данном случае автору не до иронии. Перед нами действительно герой, чья судьба оказалась изломанной слишком крепкими объятиями государства. Но всем внешним признакам это академик Андрей Дмитриевич Сахаров, застывший в нелепой „ласточке“ и опирающийся при этом руками на два ржавых железных колеса. Не будем гадать, почему именно так, а не иначе изобразила его Романовская, разве что вспомним, справедливости ради, что для большинства своих современников академик Сахаров казался каким-то нелепым исключением, белой вороной инакомыслия. Официальным „героем“ он стал для агрессивно-послушного большинства только после смерти.

Такой вот странный триптих, вокруг которого мелькают другие „колеса судьбы“ и другие свободно парящие или перекрученные веревками персонажи. Даже поэт Эдуард Лимонов, которого когда-то во времена его посюстороннего пребывания знала Романовская, кажется своим в ряду тревожной пластики. Портрет сделан давно, но, видимо, было в нем нечто провидческое, предсказывающее ту порчу, которая случилась в последние годы. Поэтому он теперь называется не „Портрет Лимонова“, а „Портрет Лимонова, когда он был поэтом“. Был, разумеется. И стихи роились как табачный дым под потолком. И молодые гении клялись в вечной верности Поэзии. Только кто-то заплатил за эту верность жизнью, а кто-то остался тем, кем и был в первоначальном аморфном проекте — железным целлулоидом-необеритом или лишенным чувства брезгливостью политиканом, умело скандалящим в свою пользу. Разорванная пластика несколько кляклого на вид шамота идеально отразила существо процесса, случившегося в одном отдельно взятом поэтическом организме.

И так почти во всем, что сотворила Романовская, — сущность явления проступает из глубины пластики. Даже если бы хотел автор что-то прикрыть или приукрасить, ничего не выходит — лезут из всех плоскостей и складок прекрасные и ужасные образы и образины. И, как ни странно это кому-то покажется, по-прежнему трудно выставить содеянное, так как если раньше мешали идеологические и административные препоны, то теперь надо выискивать господ-спонсоров и выслушивать или во всяком случае учитывать их просвещенное мнение. И я теперь уже не берусь судить, что хуже — каменная задница огромного государства или купеческое — „сделайте нам красиво!“. До просвещенного меценатства, увы, далеко, а развалины госмашины еще только дымятся и при определенном повороте событий всегда найдутся опытные механики, чтобы собрать и закрутить все необходимые гайки.

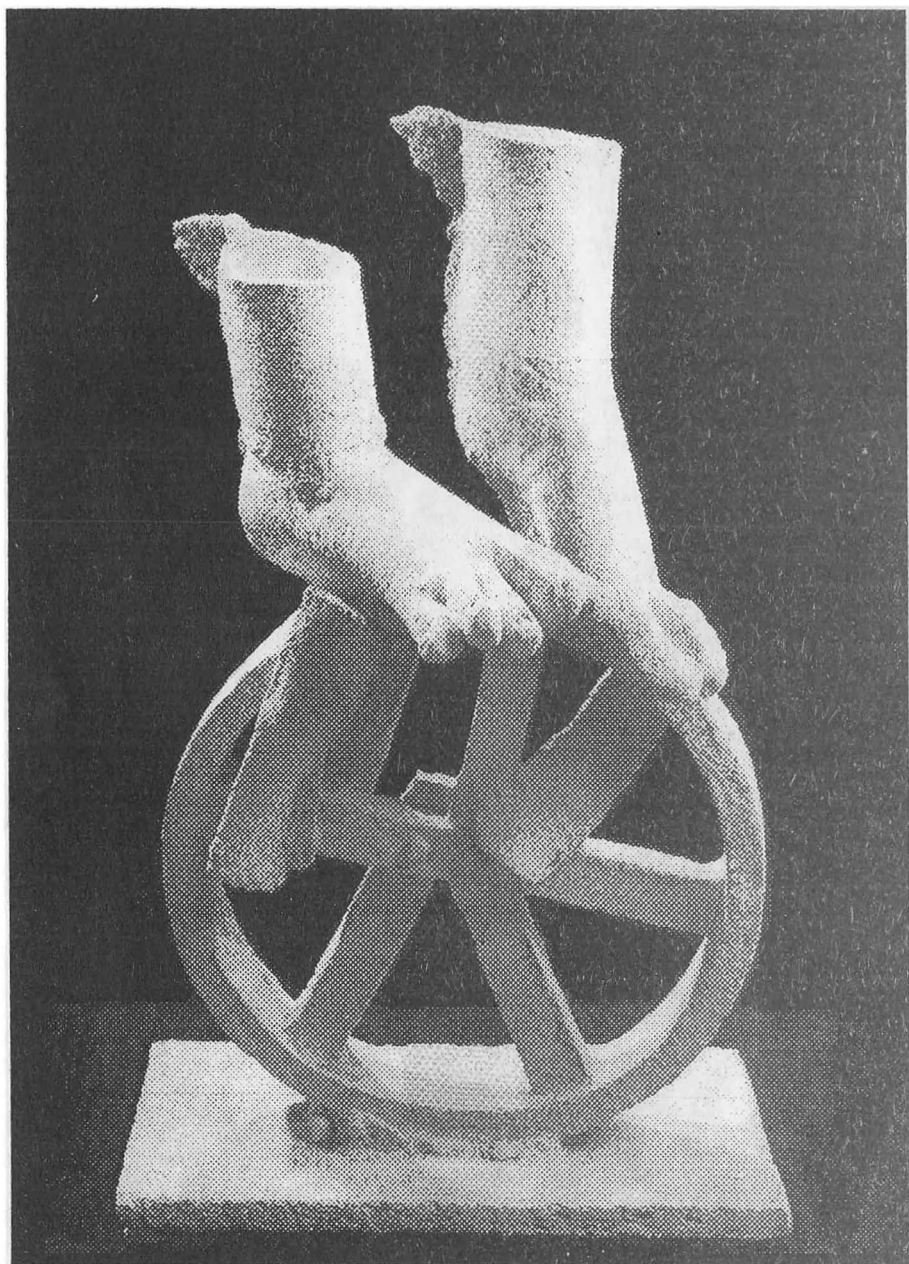
А посему, вдохновенный ваятель, по-прежнему, с трепетом вхожу я в твою мастерскую.



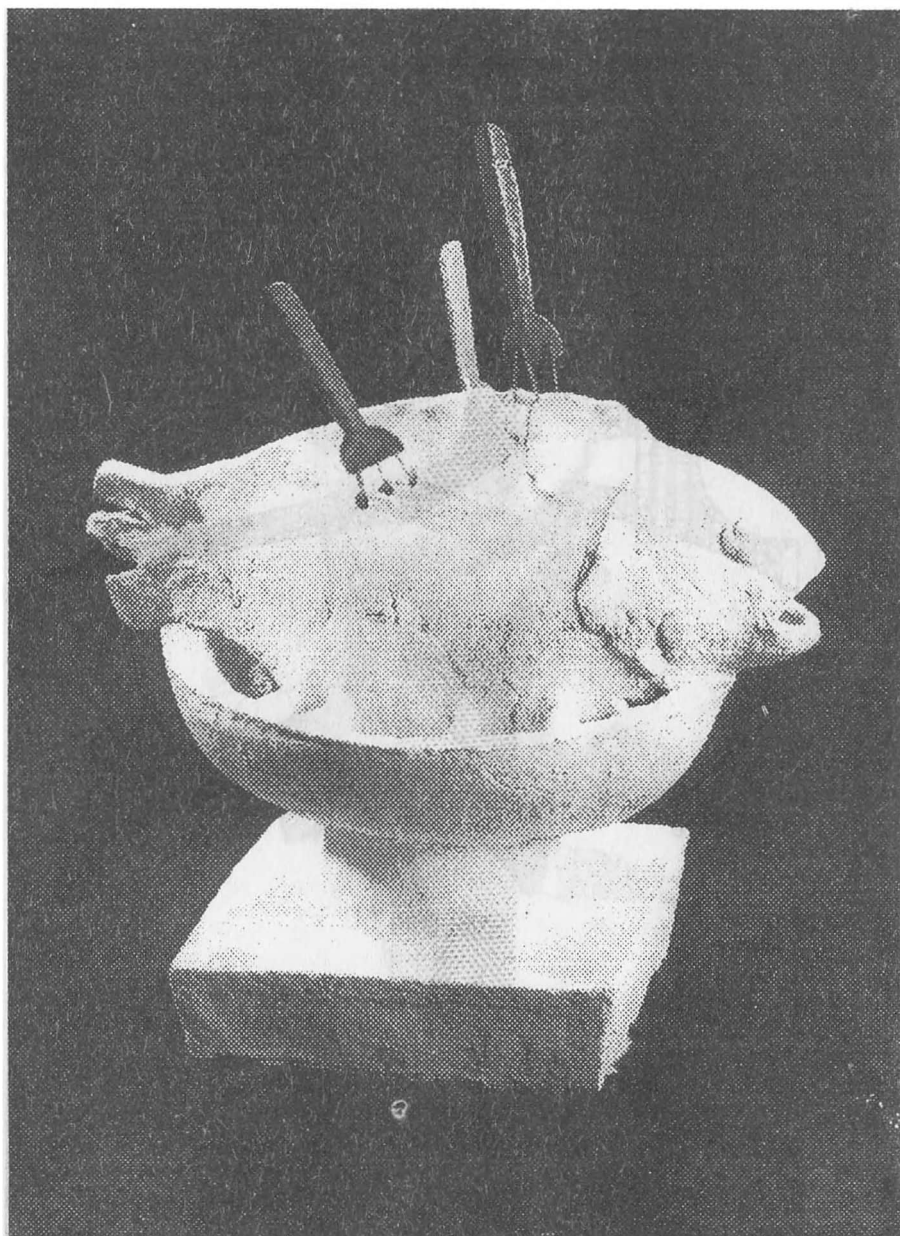
«Свобода».



«Лимонов, тот, когда поэт».



«Счастливые ноги».



«Натюрморт с рыбой».



Кира Сапгир

Ткань жизни

Главы из романа

* * *

Душой пиршества Дисси оказывается

Дисси с визитом с Чужой Чужбины

Мы приезжаем всегда по делу.

По какому — Кровавая Тайна.

*Под страхом смерти мы боимся говорить о своих планах
ни одна живая душа не должна знать,
кто мы,
куда идем
и откуда пришли.*

Дисси всегда раскидывает вигвам у друзей. В гостинице — никогда, это не принято.

Если ты живешь в гостинице, значит тебе негде раскинуть вигвам, и у тебя нет друзей. А это настораживает.

Привозит на Чужую Чужбину в дар друзьям-дисси корм Туземцев своей Чужбины. В дальнейшем каждый день будет доставать из походной сумки все новые и новые чужеземные продукты, которые привез с собой в дар.

Приехав с визитом на нашу Чужбину, не ходит в музеи.

Не ходит в кино.

Скучает при отвлеченных разговорах — они ничего общего не имеют с Тайными Делами, из-за которых он здесь. По Тайным Деламам ходит он

с утра до ночи. Тщательно скрывает от хозяев, у которых раскинул вигвам, тайные дома и адреса, куда ходит. Нанеся за день два-три тайных визита, неизменно возвращается по вечерам, чем-то тайно довольный. Ни о чем не спрашивая, хозяева кормят его горячей едой (см. *Корм Дисси*), как чернорабочего, явившегося домой после утомительного дня.

Вечером Гость никуда не идет — рабочий день окончен, бля! Бездумно смотрит телевизор, где идет многосерийный боевик, не понимая ни слова. Впрочем, точно такой же идет на его Чужбине. Хозяева от избытка дружеских чувств пытаются переводить содержание — впрочем, они знают местное наречие ненамного лучше своего гостя... Гость успокаивает, что все понимает, и сам начинает переводить хозяевам сюжет.

Любит по утрам долгие завтраки из туземных продуктов, вкус которых зачастую хозяевам неизвестен. Дисси-в-гостях — знаток местных туземных продуктов! Сам приносит их поутру из магазина, куда успел смотаться, пока хозяева спали после наканунешнего пиршества...

Его восхищает образ жизни Чужой Чужбины, где он в гостях. Старается чтить местные обряды. Любит сидеть за столиком арабского кафе, где его прекрасно помнят с прошлого визита... Хвалит местные обычаи — впрочем, ни за что бы тут жить не стал, бля!

Приводит в порядок логово, в котором раскинул вигвам:

Вешает занавески

Укрепляет под потолком китайский абажур в виде шара из рисовой бумаги,

Укрепляет покосившуюся полку

Исправляет проводку

Чинит уют

Прибивает гвозди, вешает картины, меняет краны в ванной и на кухне,

Словом, делает все-все-все.

К концу пребывания на Чужой Чужбине непременно ведет хозяев пировать в грузинский ресторан — его там прекрасно помнят с прошлого визита.

Непременно посещает тайную любовницу-дисси. Просит ничего не рассказывать об этом визите хозяйке дома. Еще бы! Визит к любовнице — Кровавая Тайна Тайн!!! Обещает скоро опять приехать.

Увозит у любовницы книгу почитать — с концами, бля!

...На вечеринке хозяева без Гостя с Чужой Чужбины как без рук!

В доме не хватило хлеба — он бежит за хлебом с булочную.

Не хватает стульев — раздобывает стулья из-под земли.

Изготавливает салат по собственному рецепту.

Сбивает майонез по туземному рецепту.

По собственному рецепту изготавливается водка-мэзон.

Печет в духовке мясо.

Словом, на пиршестве возлагает на себя ответственность за ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!!!

Пиршество разворачивается в столовой, под люстрой, имитирующей керосиновую лампу. Гости сидят на дареных пластмассовых табуретках, плетеных стульях и импровизированных скамьях из досок с соседней стройки, положенных на чемоданы, ну и так далее (см. *Логово Дисси*).

Корм Дисси

В подходе к корму существуют три подвида особей:

праведники

— не желают отведать ничего из туземной еды, вкус которой неизвестен их Несчастливым братьям из Большой Зоны;

— едят креветки и не едят устриц;

— едят клубнику (зимой) и не едят киви;

— едят картошку и не едят артишоки (Мурза учит есть лишь мелкую картошку розовую, как облупленный на солнце нос, которую надо брать лишь у Фошона);

— ну, и т.д.

плюралисты

— восторгаются кормом Чужбины, при этом отнюдь не гнушаясь привычного корма Большой Зоны;

— на туземный лад сами взбивают майонез (по своему рецепту);

— в борщ добавляют побеги сои;

— в винегрет крошат авокадо;

— ну, и так далее.

патриоты

— верные приверженцы кулинарии, в особенности, когда приглашают на Патриотическое Пиршество Праведного Туземца (Негодяя), ностальгирующего по Большой Зоне.

Приглашая на Патриотическое пиршество окаянных Праведных Туземцев, хозяева претерпевают мучения —

Меню для окаянных Праведных Туземцев

* Туземные исследователи нашего Мирка говорят, что нигде нет столько толстых женщин, как в нашей эмиграции, и нигде нет столько разговоров о похудании,

Хозяйка, матерясь, делает *пирожки*, которые сама обычно не ест из соображений диеты*.

Проклиная все на свете, варит ебаный Ле Бортш, от которого у хозяев несварение желудка.

Варит блядскую *Ла Кашá*, за которой надо отправляться к Фошону*, а то и в другую страну (см. „Наши путешествия“).

Заправляет, поливая слезами ярости, в промышленных масштабах Ле Пелменис и Ле Блинис, без них Праведный Туземец у себя на Чужбине чахнет, бля!

Ноблесс она, как известно, оближет**.

Без окаянных гостей — для своих

КОНЕЧНО ЖЕ, ПИЦЦУ!!! Из соседнего супермаркета, свежезамороженную

КИТАЙСКИЙ СУП из пакетиков из соседнего китайского супермаркета — лучшего в городе!

Блинчики из супермаркета — свежезамороженные — объедение!!!

....Из супермаркета свежезамож...

...супер... свежезамор...

...свежезамор... и т.д.

Напитки Дисси

КОНЕЧНО ЖЕ, ЧАЙ!!!

У патриотов: Чай „Ля Душка“ — в русском вкусом...

У плюралистов: „Эрл Грей“ — с запахом копченой свинины по-сычуански и вяленой утки по-гонконгски

У праведников: Только нашинский чай со вкусом и запахом веника и цветом мочи дистрофика, стоит состояние и продается лишь у Фошона на прилавке суперэкзотических продуктов...

КОНЕЧНО, ЖЕ ВОДКА-МЭЗОН!!!

До водки-мэзон особенно охоч Праведный Туземец — любитель острых ощущений.

У каждой семьи свой рецепт.

Водка-мэзон сотворена по экономическим соображениям из аптечного спирта, куда добавляют: лимонные корочки, чеснок, грибы, укроп, перец, хрен, редьку, анис, порох, дробь, черта в ступе — словом, по вдохновению.

Семья Жопорожцев попросту разбавляет аптечный спирт водой из-под крана.

* Самый дорогой гастроном во Франции, где только птичьим молоком не торгуют.

** noblesse oblige.

Главным на пиршестве бывает бард Паша́ Зуб. От него ждут песен — их нет у него, он коварно не захватил с собой гитару. Начинается паника. Надо достать гитару из-под земли,бля!

Гость с Чужой Чужбины добывает гитару из-под земли. Вечеринка спасена!

* * *

Среди гостей на равных на детском стульчике сидит

Гениальное Чадо

Родители с умилением говорят, что Чадо — первое у себя в районных яслях, а ясли — первые в районе, район же — первый в городе, и туда отдают своих Чад несметно богатые Туземцы. Гости обязаны умиляться тоже.

Гениальное Чадо мешает всем, влезает в разговоры — но никому и в голову не приходит его заправить спать. Шепелявя и матерясь, Гениальное Чадо* рассуждает о Тварном Свете, эссе Корифейского и судьбоносных „Узелках“ Властелицына. Изредка, хныча, требует соску с водка-мэзон. Родители пытаются отправить Гениальное Чадо в постельку, оно сопротивляется, грязно матерясь, и тогда родители прибегают к подкупу: обещают электронную погремушку, мороженое, компьютерную игру, видик — словом, все-все-все, только чтобы уснул, наконец, поганец! В конце концов, наскандалив, Чадо засыпает за столом, уронив голову в тарелку с манным борщом и полупустой соски с водка-мэзон.

На нынешней Тайной Вечере справляют поминки — только что скончался в Метрополии от перепоя Гений Орест Двужильный.

Черта на стене (Некролог)

В коридоре квартиры, забитой иконами и художниками, на стене — черная линия углем. Проведена до кухни и теряется где-то у холодильника.

„Он прочертил?“ — спрашиваю. И отвечают: „Он“.

Этого художника можно было узнать по одной черте. Просто по черной черте, проведенной на стене в коридоре.

Все настолько привыкли хоронить Двужильного, что когда он как ни в

* Я лично слышала такой диалог мамы с четырехлетним сыном:

— Мама, какое это дерево — Гоголь?

— Почему — дерево?

— Ну есть же роман Синявского «В тени Гоголя»?

чем не бывало воскресал, никто не удивлялся. Знали: когда человека столько хоронят, две жизни проживет. Двужильный.

Рассказывают такую быль:

Идет Двужильный как-то ночью по Каменному мосту, сам не знает куда, его женщина прогнала. Ноябрь на дворе. Идет, грустит.

Навстречу ему алкаш, он с ним в парке культуры в шашки играл.

— Ты что грустишь? — спрашивает алкаш. — Может, тебе жизнь твоя не нравится?

— Плохая моя жизнь. — отвечает. — Ничего в ней хорошего нет.

— Плохая твоя жизнь, — соглашается алкаш. — На что она тебе? Такую жизнь, я думаю, надо прекратить.

И прежде чем он опомнился, алкаш хватил его в охапку — да и через перила моста — и в реку! Тот повис, скрючившись, ногтями за мост цепляется. А алкаш его все сапогом, сапогом по пальцам!

Видит — никак ему жизнь эту не прервать. Расстердился алкаш не на шутку!

— Ах, так, — кричит, — ты жизнь свою прекращать не хочешь. Ну, так я вот эту жизнь уж точно прекращу!

И с этими словами кидается к компании, которая в этот момент шла по Каменному мосту. Гармонист на гармошке играет, по бокам его две бабы, а третья — задом прилясывает перед ним, дробь бьет. Перед призывом, не иначе, гуляют.

Разбежался алкаш, выхватил гармониста — и закинул смаху прямо в реку. Тот летит в воздухе и все еще по инерции играет на гармошке. Наконец долетел до бакена. Растянулась гармошка во всю ширь:

— УРРР-РРЯЯ!!!

Он был настоящей богемой. Настоящим „Фовистом“ — диким...

В башмаках, прямоком с картины „Прогулка каторжников“* забрел в интеллигентный дом. В столовой на круглом столике карельской березы в синей самаркандской вазе красуются чудом добытые здесь, на окраине столицы, мандарины. Он берет мандарин за мандарином и бросает их в пасть хозяйскому бульдогу. Тот надкусывает и выплевывает. Он тоже надкусывает мандарин. Выдавливает дольки на бумажный лист. Растирает по листу корки, плюет и, макая раскисшим окурком в плевки, молниеносно что-то наносит на лист — какие-то стремительные завитки и штрихи; топчет ногами бумагу, чуть не прорывает ее — и вот уж цветет на листе самаркандская ваза, плоды мандрагоры.

Пил зверски. Был, впрочем, удивительно брезглив. Перед тем, как откупорить поллитру, вынимал из кармана драпового пальто все залепленные табачной крошкой ватно-марлевые подушечки из аптеки.

* Картина Ван-Гога.

Затем, отодрав зубами „бескозырку“, начинал тщательно протирать бутылочное горло. И только потом мощно присасывался к чистому стеклу; и, если не отобрать, осушал одним махом.

Рисовал по двадцать, по тридцать рисунков сразу: на каждый уходило по несколько секунд; на двадцать пять рисунков обязательно приходился шедевр.

... На вернисаже в квартире-салоне висит его портрет: в раме — залитая эпоксидкой столовая ложка — прямо с объедками, окурками; там же осколки: какой-то разорванный женский бирюзовый браслет. Рядом — картина его самого: во весь олоз летит голубой конь.

— Разве это — он? — томно вопрошает хозяйка. — Это не он! Вот он! — и указывает на „Голубого коня“. — Он — наш Голубой конь!

...Этого художника можно было узнать по одной черте. Просто по черной черте, проведенной на стене в коридоре.

„И скучно, и грустно...“

И вот сейчас я томлюсь. У меня сосет под ложечкой.

Как же это все путано выглядит... Как сложно дышать в эту муторную, какую-то мусорную зиму... в городе крутится сорный вихрь... Завихряется вокруг церквей... В церкви от Метрополийской епархии* поет Мамлякат Бобок, и кажется, что от сорного вихря все меняются местами —

верх и низ,

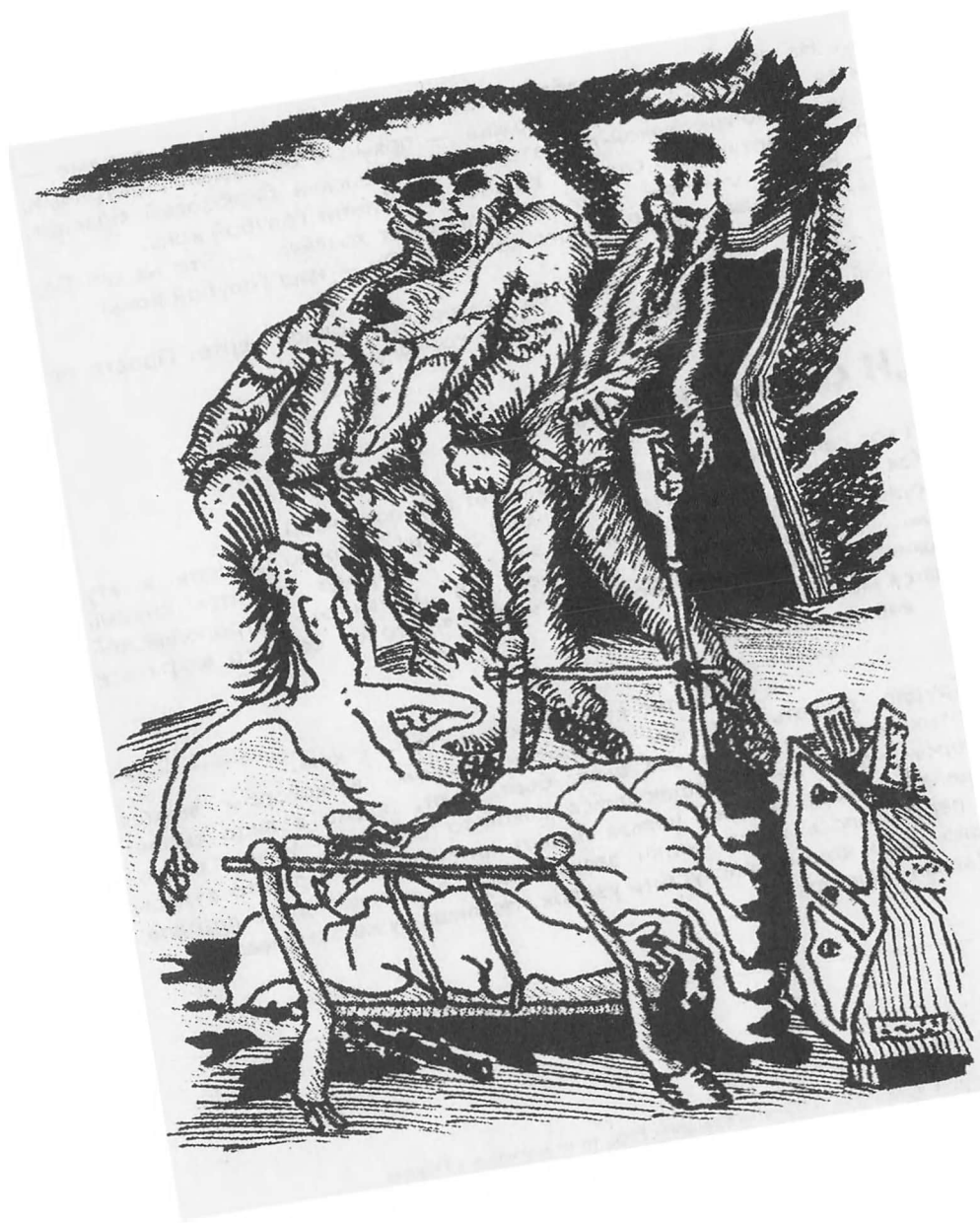
правое и левое

и непонятно кто есть кто и кто — с кем.

Трудно дышать пыльным холодным ветром, в котором выются недотыкомки. А по мне все бьет, бьет, бьет, прямо в лицо сыплет мусором, дует непрекращающийся какой-то сквозняк. И нет конца-предела непогоде, и даже нельзя свалить на судьбу. У моей-то судьбы все перепуталось тогда: нитки завязывались в узелки, я их дергала, пытаюсь найти кончик, распустить узелок. Но лишь туже затягивались

Узелки ткани лжи.

* Тогда в преддверии 1000-летия Крещения Руси, то-то крутилось в Париже именно вокруг церквей — в особенности в церкви на ул. Петель от московской епархии, которую все тут называют „советской“...



Владимир Филь

Случай

Захмылову давно ничего не нравилось. Не нравилась зона, и не нравилась „химия“, куда его из этой зоны привезли по „Указу об амнистии“. И „Указ“ не нравился. Плохой указ. И сам себе Захмылов тоже не нравился. И не нравилась брага, которой он вчера напился, и чьи мутные остатки еще были на дне трехлитрового бутылка, стоящего на столе. Не нравилась работа плотника-бетонщика второго разряда, на которую он не пошел сегодня, не ходил вчера и не пойдет завтра. Тем более, что в плотники-бетонщики он не набивался и никогда не умел ни плотничать ни бетонировать, и впредь этим заниматься не входило в его планы. Не нравились „химики“-собутельники, которые на работу пошли, хотя она им тоже не нравилась. И теперь не с кем ни похмелиться, ни поговорить. Пустой барак.

— Тикать надо на хер,— думал Захмылов невеселые мысли,— гнилые все. К невеселым мыслям Захмылов начал склоняться также давно, как только выяснил, что работа здесь предстоит намного тяжелее, чем в колонии, рожи вокруг те же самые, и о жратве нужно будет думать самому. В общем минусов больше, чем плюсов. Но особенно усилились эти мысли сегодня, после того, как Захмылов с трудом встал с койки и полез в карман телогрейки, висевшей на гвозде у двери, чтобы проверить, сколько осталось денег после вчерашнего. И обнаружил, что денег вообще нет. Еще вчера они были, еще вчера он по-гусарски размашисто доставал из кармана разные купюры и посылал кого-то за брагой, а сегодня их нет. Кто и когда их вытащил, неизвестно. Вроде все свои были, не на кого и подумать, а денег нет! В зоне никто и никогда не брал чужого. Портит людей свобода! И это ведь только начало!

Обнаружив, что денег нет, Захмылов снова лег на койку и начал приходить к окончательному выводу о том, что надо „тикать“. Хватит мучаться! Но дело теперь осложнялось тем, что тикать без денег было как раз и невозможно. Далек не утечешь. А надо было далеко. Добраться до

дому, основательно подготовиться к дальнейшему отбыванию срока на зоне, собрать все необходимое, немного погулять и идти сдаваться участковому. Причем сдаваться самому, а не ждать, пока поймает уголовный розыск. Потому что в уголовном розыске будут бить и заставлять признаться в каких-нибудь грабежах и кражах. И кричать, что они и так все о нем знают, и что у него, Захмылова, преступлений больше, чем волос на голове. А это будет неправда. Три раза совершал Захмылов преступления и три раза сидел на всю катушку. После второго и перед третьим разом даже женился. А до того, как жениться, говорил будущей жене, что если бы он встретил ее раньше, то и жизнь у него была бы другой, и сам он тоже был бы другой.

И много еще всякого говорил, о чем и вспоминать-то неловко. Тем более, что жизнь другой не стала. Разве что на „химию“ теперь попал, а раньше не доводилось. Но это никак не зависело от его встречи с женой. Мог бы и не попасть. Те, кто выпускал „Указ“ не обращали внимание на то, встретился уже Захмылов с женой или еще нет. Так что жена тут ни причем. И встречу ее Захмылов раньше, это ничего бы не изменило, напрасно он тогда ей всякое говорил. Шептал там чего-то... А она и уши развесила! Захмылов чуть повеселел, представив, как жена развесила уши, слушая его, и с развесившимися ушами стала похожа на охотничью собаку. А еще смешнее было представить самого себя другим и с другой жизнью, с каким-нибудь, наверное, галстуком на шее и с портфелем в руках, в котором лежат, конечно же не бутылки с вином, а всякие деловые бумаги. И как бы это он, допустим, не был бы знаком с рецидивистом Дыней, с которым отбывал все три срока. Только, бывало, придет в зону, а Дыня уже там! Нет, по-другому быть никак не могло. Тут мысли Захмылова снова вернулись к ушедшим на работу собутыльникам и к тому, что кто-то из них пьет на его денежки и что в такой нечестной и растренной обстановке дальше пребывать никак невозможно.

Найти выход из создавшегося положения Захмылов не успел, потому что в коридоре послышались чьи-то незнакомые и наглые голоса, а через минуту, не постучав и широко распахнув дверь, в комнату по-хозяйски уверенно вошли два неизвестных Захмылову человека. Один остановился у порога, и заложив руки в карманы пальто, начал скептически и оценивающе вращать глазами, осматривая всю комнату целиком, как будто прочитал в газете объявление об обмене жилья и пришел узнать, не хотя ли его обмануть и не протекает ли, допустим, потолок. Второй же прямоком направился к Захмылову, остановился возле койки и заорал:

— Ну что, лежишь?! На работу не ходишь?! Брагу пьешь?! — и, взглянув на бутыл с остатками браги, со злым сарказмом продолжил, — Конечно! Бутыл заглотил, какая работа! Во жизнь! Как в раю! — и повернувшись к первому еще громче крикнул: — Нам бы так! А!?

Первый ничего не ответил, а продолжал осмотр. При этом он слегка

покачивал головой, как если бы его подозрения по поводу протекающего потолка начинали оправдываться. Захмылов растерялся. То, что это были не „химики“ из другой комендатуры, иногда приходящие к ним в барак на разборы, было ясно. „Химики“ обычно врвались выпившие, разгоряченные, коротко стриженные, в распахнутых телогрейках, с ножами и кольями в руках, выкрикивали матерщину и сразу начинали колошматить первого, кто им попадался под руку. Для таких визитов у Захмылова под койкой лежал металлический прут, кусок арматуры, который он принес со стройки в первый же день. Для этого он, собственно, и пошел тогда на работу. Пошел, узнал, что отныне будет плотником-бетонщиком второго разряда, поглядел на строящийся объект, взял металлический прут и больше туда не ходил. И после этого „химиков“ из другой комендатуры встречал во всеоружии.

Но это были не „химики“. Даже дело не в норковых шапках на их головах. У Васьки Гуся тоже была норковая шапка. Васька Гусь был картежник и без норковой шапки нигде не появлялся. Без норковой шапки его можно было увидеть или летом, или в зоне. И то свою жизнь в зоне Васька Гусь старался максимально приблизить к своей жизни на свободе. И даже шапка у него там, хотя и не была норковой, но своей формой и индпошивом весьма напоминала норковую. А мастерски перешитая телогрейка, в свою очередь, была похожа на дубленку. И бирка на ней с фамилией и номером отряда была выполнена художественными вензелями. И перетянутые, обработанные лагерным сапожником кирзовые ботинки, напоминали итальянские сапоги. А по приезде на „химию“, в тот самый первый день, когда Захмылов притащил прут, Васька Гусь куда-то пошел и назад уже пришел в норковой шапке, в настоящей дубленке, в итальянских сапогах и джинсах. А на второй день за ним приехали на автомобиле. А на третий он уже в бараке не объявился, как не объявился и по сей день. К тому же Васька Гусь никогда не орал. Он как-то так себя вел, что и без всякого оранья было понятно, кто это такой. И раздражаться или завидовать по поводу того, что Захмылов пьет брагу и не ходит на работу он бы не стал. Так что норковая шапка еще ни о чем не говорила. Эти двое не были похожи на Ваську Гуся. Больше всего они были похожи на инспекторов уголовного розыска, решивших устроить какую-то проверку. Тут все вроде бы сходилась. И бесцеремонность, и шапка, и аккуратная, неброская (в отличии от того же Васьки Гуся) одежда, и нахрапистый тон. Но Захмылов никогда раньше не слышал, чтобы здесь появлялись инспектора уголовного розыска. И даже сомневался, есть ли вообще в этом городе уголовный розыск. А если и есть, то непонятно, что нужно было бы такое сотворить, чтобы появились его работники. И уж коль они не появлялись после кровавых побоищ с участием химиков из другой комендатуры, то с чего бы это им приходиться и раздражаться из-за того, что Захмылов

напился браги, лежит на койке и не ходит на работу. Да еще и считать, будто так может происходить только в раю?

Теряющийся в догадках Захмылов, не решался сунуть руку за прут, но и не спешил оправдываться, а продолжал лежать, разглядывая непонятных посетителей. Тот, что подошел близко, был небольшим, худощавым, но энергичным, проворным, с наглыми, светлыми глазами, с резким, неприятным тенором. Весь он казался каким-то скользким, отталкивающим и вызывающе опасным. Такого трудно было представить, допустим, в кругу семьи, просто о чем-то мирно беседующим, или тем более спящим. Он должен был непременно орать, непременно двигаться. Раздражение и злоба так и полыхали в нем неугасающим пламенем. Видимо, это было его обычное, природное состояние, причем державшееся на одном уровне. Больше, чем сейчас, он уже разозлиться не мог, но и меньше не мог. И второй, стоящий у порога амбал, тоже был опасным. Затаенно, скрытно, непредсказуемо опасным. Потому и держался в тени, старался не бросаться в глаза, делал вид, будто он обыкновенный человек, ничем не примечательный, одетый в обыкновенное пальто. Чтобы не распознали его раньше времени, не бежали от него, сломя голову, вглядевшись в темное, напряженное, сумрачное лицо, хотя бы частично догадавшись, какие дикие, патологические мысли бродят в этом мозгу, какая сумасшедшая, садистская сила, готовая в любое мгновение вырваться из берегов и крушить, рвать, терзать все на своем пути.

— На какую работу? Я выходной,— решил хмуро и гонористо соврать Захмылов, надеясь на то, что это все-таки люди из уголовного розыска, и что после такого ответа они, может быть, уйдут. Или в крайнем случае заберут его на допрос, будут в чем-то подозревать, надают по почкам и отпустят, потому что ничего такого особенного Захмылов за собой не знал.

— А где остальные? — снова заорал своим режущим слух тенором первый и кивнул на пустые, но незаправленные койки,— У них тоже выходной?

— Остальные на работе! — повысил голос Захмылов, и понял, что ответил что-то не то, не так, в чем-то непоправимо ошибся, потому что первый вдруг быстро и двусмысленно посмотрел на своего спутника. Быстро, торжествующе усмехнулся и так же быстро отвел глаза.

Второй гость перестал покачивать головой и осматривать комнату, а внезапно застыл, вышел из надоевшей роли и изменившимся взглядом уставился на Захмылова. Таких глаз Захмылов еще не видел. Это были глаза монстра, черные, безумные, бездонно-бешеные. „Это не менты“, — с ужасом осознал Захмылов и начал медленно подниматься, досадуя на свою недогадливость, неподготовленность, на то, что сразу не схватил прут, а теперь уже поздно, не успеет, да и не сможет теперь, страх сковал

движения. Сразу надо было хватать и с порога бить, бить изо всех сил, потому что это неизвестно кто, жуткие и непонятные существа, по сравнению с которыми „химмики“ из другой комендатуры ерунда, сопляки, шалуны. А менты так и вообще замечательные, добрейшие люди, состоящие на государственной службе. Если бы это были менты! И чего он дурак, ментов не любил, врагами их считал?

— Ага, все на работе, а ты, значит, выходной,— неожиданно подобрел и как-то даже радостно забормотал первый, подходя к окну и глядя из него куда-то в бок, на дорогу,— хорошо! В выходной можно и браги выпить. Чего ж не выпить, раз выходной? Мы б тоже выпили, если б были выходные... Выходной, значит?

— Выходной,— так до конца и не поднявшись, опираясь на локти упрямо повторил Захмылов, стараясь сохранить видимость гонора и хоть как-то затормозить ход назревающих, явно странных и никак не нужных ему событий,— Можете у отрядника спросить...

И сказав последнюю фразу, почувствовал себя оправдывающимся, плохо умеющим врать двоечником, переростком-второгодником, каким он и был в школьные годы. Почти те же бездарные, беспомощные, очевидно-лживые и тупые слова, как будто и не прошло много лет, не приобретен жизненный опыт, а так и остался он не повзрослевшим и не поумневшим балбесом, понуро склонившим голову в директорском кабинете.

— Не ври, сука! — будто проникнув в его состояние, наконец, подал голос, прорычал низко и утробно стоящий у двери монстр,— А ну, подымайся и пошли, сука, я тебя сейчас убивать буду! — и затрясся от сладостного предвкушения близкой расправы, где он наконец-то даст себе волю.

Чуть раньше, еще до этих слов, Захмылов уже понял, что наплевать им на то, выходной он или нет, пьет он брагу или не пьет, и на все другое наплевать. Им нужна была зацепка, нужно было подавить его волю какими-то словами, чтобы вывести из комнаты и убить. А зачем вывести и за что убить, этого он уже не поймет. Да это теперь и не важно. Может, просто любят убивать. И под ментов они для этого сработали. Со знанием дела сработали. Знают откуда-то, все знают...

„Лучше бы я пошел на работу,— угрюмо и растерянно подумал Захмылов,— Они бы пришли, а меня нет...“ Трусливая и жалкая мысль, от которой самому стало противно и стыдно.

Поднимаясь, Захмылов еще надеялся найти какой-то выход. Может быть схватить резко со стола бутыль, ударить первого ногой в бок, во второго кинуть бутылем, разбить окно, выскочить и бежать в барак напротив, к армянам, за помощью.

— А ну быстреей, ублюдок! — снова зарычал монстр. Одеваться времени не было, Захмылов влез в сапоги, валявшиеся возле койки, спешно обдумывая следующий ход.

Но, поднявшись и увидя свой впалый живот, широкие, мятые трусы, а главное, свои тощие волосатые ноги, вставленные в неуклюжие, неряшливые, грубые, безобразно-огромные, тяжелые, грязные сапожищи, почувствовал себя ничтожным, вялым, смирившимся и покорным, не способным к проявлению воли. Не может человек, одетый в трусы и сапоги, действовать решительно, не может сохранять хотя бы видимость достоинства! Смешно, наверное, в таком несуперменском виде пытаться совершать суперменские поступки, не получится ничего, не может получиться! Даже Ваську Гуся в таком наряде никто бы не уважал. Какой бутыл, какое окно!

Захмылов молча и обреченно, волоча ноги, поплелся к двери, мельком отметив мерзкую, блуждающую улыбку на лице первого и огромные глаза монстра. Выйдя из дверей, Захмылов не поинтересовался, куда нужно идти дальше, а сразу направился в конец коридора, в умывальник. Направился по привычке, не задумываясь, потому что все разборки местного, внутрибарачного значения всегда происходили в умывальнике. Там разбивали носы, сворачивали челюсти и ломали ребра. И монстр пошел за Захмыловым, ни слова не говоря, как будто ему это тоже было откуда-то известно. Как будто они заранее договорились с Захмыловым, что пойдут именно в умывальник.

Монстр шумно и зловеще дышал. Даже не дышал, а вдыхал, вдох был коротким и почти неслышным, зато выдохом он как бы еще сильнее разжигал в себе бешенство. И по мере разжигания, дыхание все учащалось и учащалось. Казалось, вот-вот наступит критическая точка, последует взрыв, и он, не дойдя до умывальника, со звериной стремительностью и силой разорвет Захмылова на куски...

И хоть бы кто-нибудь встретился, случайно вышел из какой-нибудь комнаты. Пусть не блатной, доходной, запуганный, из тех, кого Захмылов раньше презирал, не здоровался, но знакомый, свой барачный. С кем можно было бы словом перекинуться, отвлечь от себя внимание, не чувствовать себя таким маленьким и одиноким перед этой непонятной, необъяснимой, мистической бедой. Может, если бы кто-то появился, то все это наваждение исчезло бы, расплылось...

Но было тихо, так тихо, как никогда здесь не бывало. Как будто эти двое заколдовали барак, и не только барак, а вообще весь мир усыпили. Не верилось, чтобы где-то мог пить чифир и гоготать рецидивист Дыня, ехать в автомобиле и курить дорогие сигареты Васька Гусь, писать письмо ему, Захмылову, его обманутая жена... Не верилось, чтобы где-то могла быть жизнь, в тот момент, когда Захмылов встречает свой смертный час, последний раз шагает по коридору и никогда не прошагает обратно. И что-то изменить не в его силах. Найдут потом мертвым в умывальнике, а кто, когда, и за что его убил, знать не будут...

Захмылов представил себя лежащим на кафельном полу с

вывернутыми руками, с остекленевшими глазами, с синим вздувшимся пятном на шее и неожиданно успокоился, как будто переступил невидимую черту, и вся ужасная реальность, острая жуть остались по ту сторону, а по эту были апатия, равнодушие и отстраненность. Будто смотрел он кино с самим собой в главной роли, и кино это было ему неинтересно, потому что видал он его много раз...

„Ладно, что ж теперь сделаешь... Ничего не сделаешь,— безразлично думал Захмылов,— зайду в дверь первым, повернусь, ударю... И все, конец. Ко-нец...“

Захмылов понимал, что его удар никакого вреда такому амбалу не нанесет, но умереть хотелось достойно, так, чтобы монстр не думал, будто он его испугал. На мгновение пронеслась мысль, что хорошо бы если бы в умывальнике оказалась швабра, тогда можно было бы ударить шваброй. Хотя и это, конечно же, не поможет. Ничто ему уже не поможет!

Захмылов свернул в умывальник, прикрыл за собой двери и остановился у подоконника. Швабры не было. Часто, почти все время была, а теперь нет. „Ну что же сделаешь,“— опять с тем же безразличием подумал Захмылов,— не повезло...“ И приготовился ударить монстра куда-нибудь в область носа. Чтoб хоть нос сломать, если удастся, память о себе оставить...

Снова вернулась тревога. Снова замелькали, заносились в голове тоскливые мысли о том, что не собирался он сегодня умирать. Знал, что когда-то умрет, но не сегодня же! Не готов он сегодня! Почему сегодня, почему здесь? Поразила какая-то обыденность обстановки: желтый кафель на полу с отпечатками грязных ботинок, звук капающей из крана воды... Ничего сверхестественного! Ничтожна человеческая жизнь! Пришли какие-то двое, убили, и уйдут неторопливо. А он Захмылов, останется лежать в умывальнике и так же будет капать из крана вода. Тысячу раз заходил сюда Захмылов и знать не знал, что будет значить для него этот умывальник. А может, и не должно быть ничего сверхестественного, просто пришла его очередь? Чем он лучше Алека Малькова, зарезанного в этом бараке, или Жоры Кешишьяна, отравившегося брагой на той неделе? Ничем не лучше. Так почему же его смерть должна быть какой-то особенной, не такой обыкновенной, как у них? С какой стати ему нужны обязательно барабанная дробь, вой плакальщиц, рассыпанные цветы и потрясенные лица? Алек с Жорой обошлись без этого, а он что, не обойдется...

Отвлечись, Захмылов упустил момент, когда монстр резко распахнул дверь и снова застал его врасплох, внезапно оказавшись на чересчур близком, неудобном для удара расстоянии. Прямо перед Захмыловым оказались немигающие глаза, с нечеловечески расширившимися огромными черными зрачками.

„Не успел. Опять не успел...“ — бесстрастно констатировал начавший

отвлеченно воспринимать действительность мозг Захмылова, как если бы то, что могло произойти с самим Захмыловым, его уже не касалось, или, может, он надеялся каким-то образом уцелеть и существовать дальше сам, без этой стриженной круглой головы и костлявого тела, подчинявшихся ему же приказам.

„Слушай меня,“ — почему-то сразу не набросился, а тихо прошептал монстр, оглянувшись, ударом ноги захлопнул дверь и уставился на Захмылова своими дикими глазами так, как будто взглядом хотел передать что-то гораздо более важное, чем то, что мог сообщить словами, и, действительно, начал говорить нечто странное и неожиданное, такое, что утративший способность размышлять, а умеющий теперь только фиксировать свершившиеся факты, тяжело возвращающийся к реальности Захмыловский мозг еле переваривал услышанное.

— Видел этого пса, что пришел со мной? — монстр сделал головой движение в сторону комнат, и с еще большей страстной убежденностью быстро и приглушенно на одном дыхании, выделив последнее слово, выкрикнул: — Его надо убить!

Решивший уже пустить все на самотек Захмылов несколько секунд молчал, тупо глядя на собеседника и начиная ощущать раздражение, знакомое по тем же школьным временам, когда его вызывали к доске, задавали абсолютно недоступную его разуму задачу и начинали терпеливо разъяснять ее темный, подло замаскированный смысл. И чем больше объясняли, тем меньше он понимал, и с бессильной, тяжелой ненавистью ненавидел учителя математики, а с ним и весь класс, глядевший на него с насмешкой и жалостью.

— Ну, видел,— помолчав, угрюмо кивнул Захмылов, отвечая на первую, понятную ему часть сказанного.

— Его надо убить, понял? — повторил монстр. — Завалить, суку, чтоб в крови задохся! — и снова затрясся, представив изуверскую, милую его сердцу картину и мертвой хваткой вцепившись в плечо Захмылова, добавил: — Я сразу понял, что ты для этого годишься! Сделаешь?

— Сделаю,— по инерции зачем-то пообещал совершенно ослабевший от потрясений Захмылов, никогда никого не убивавший и не собирающийся убивать. Да и чего ради, собственно, он будет убивать малознакомого, пусть и сволочного мужика, да еще по поручению другого, не менее сволочного типа, который несколькими минутами раньше сам собирался убить Захмылова? Других, что ли, проблем у него мало? И что потом? Вышка? Новый срок?

Все это Захмылов хотел сказать, но не сказал, догадавшись, что здесь не то место и не та ситуация, чтобы вступать в диспуты или размышлять вслух. К тому же в словах монстра чувствовался такой напор, что возражать было бессмысленно, да и слишком зыбка, ненадежна та граница, за которой Захмылов оказался в безопасности. Где гарантия, что

монстр сейчас же не передумает убить своего товарища и опять не надумает убить Захмылова, решив, плюс ко всему, что посвятил его в какую-то свою ужасную тайну, на которую Захмылову наплевать и в которой он никогда не разберется и разбираться не будет, о чем монстр, конечно, не подозревает и вероятно думает, что Захмылов все понял.

— Смотри, я на тебя надеюсь,— грозно сказал монстр и еще раз яростно сжал Захмылову плечо.

— Завалю, без базара,— успокоил монстра Захмылов, уже наверняка зная, что не будет никого валить и стремясь не переводить разговор на другие, более конкретные рельсы, с уточнением времени или орудия предстоящего валева. К счастью, монстр тоже выпустил из виду возможность обговорить детали или потребовать немедленного исполнения обещанного. То ли его вполне удовлетворила несколько абстрактная концовка беседы, то ли нужно было принципиальное согласие, то ли он просто забыл об этом в приступе необузданного гнева и кровожадной злобы.

— Ну, все. Расход,— на прощание заговорщицки прошипел монстр, мгновенным порывом ткнулся в дверь и исчез.

Обессиленный, уставший Захмылов долго соображал, что ему теперь делать, ничего не сообразил и на слабых ногах потащился назад к своей комнате, так же долго стоял у двери, не открывая ее, смутно опасаясь увидеть там внутри какую-нибудь запредельную потустороннюю картину, может, окровавленные простыни, отрезанную голову, почему-то с одним полуприкрытым, и с другим бешено-черным глазом, осмысленно глядящим Захмылову в лицо. Наконец, решился, но приближаясь, бережно приоткрыл дверь ногой и чуть выждав, заглянул в щель. Нет, все как обычно. И бутылка на столе, и освещенная пробивающимся сквозь стекло лучом солнца грязно-желтая брага на его дне и те же смятые незаправленные койки. Захмылов вошел в комнату, еще раз внимательно осмотрел ее, крадущимися шагами подошел к окну и выглянул наружу. По узкой тропинке в блестящем снегу, уже на большом расстоянии от барачков, в сторону города, удалялись две фигуры, две заурядные фигуры, в серых пальто, одна больше, другая меньше. Скоро они свернут за угол, сядут в автобус, закомпостируют талоны и растворятся в тысячах таких же фигур в городе.

„Вот змеи,— без удивления, меланхолично подумал Захмылов, снимая сапоги и ложась на койку,— И что нужно было?“

Через минуту он забыл о них, поковырялся в пепельнице, достал окурки и засунул его в треснувший мундштук.

— Тикать надо на хер,— продолжил он свои невеселые мысли...

Гарри Осипов

Пир нищих

ВЫЛИНЯЯ ВОЛЬНОСТИ ФЛАГ
 ВЛАСТНО ВУЛЬГАРНАЯ ВЕТОШЬ
 ПРИКРЫТЬ НОРОВИТ
 ПОКОРНУЮ МРАКУ ФИГУРУ
 НЕГРЫ ГУРЬБОЮ К ПЛЯЖУ ПЛЕТУТСЯ
 ПРОСЯТ У БЛЕДНОЙ БУФЕТЧИЦЫ НОЖ
 МУМИЮ РЫБЬЮ РАЗРЕЗАТЬ
 ПИВА ПОПЬЮТ — РАЗОЙДУТСЯ
 Я ЗАБИРАЮСЬ ПОД ДУШ
 И НЕ МОГУ НЕ РЕВЕТЬ
 ВЕТЕР ДОНОСИТ ВОНЬ АВТОСТРАДЫ
 БУБЕН ВОРКУЕТ
 СВАДЬБА ВНИЗУ ТРЕТИЙ ДЕНЬ
 ФЕЯ ПОД ГАЗОМ В ПРЕДДВЕРИИ АДА
 ПРИОТКРЫВАЕТ
 КАЖЕТСЯ БАРХАТОМ НЕТ — ДЕРМАНТИНОМ
 ОБИТУЮ ДВЕРЬ
 ВЕЧНОЕ СОЛНЦЕ ЛИШЬ ТОЛЬКО БЕССОННИЦА
 СХЛЫНЕТ
 ЧАЙ НА ПОДНОСЕ РУЛЕТА ЗАСОХШЕГО ТРЕТЬ
 Я ДОЖИДАЮСЬ ПОЖДА ОН ВОВСЕ ОСТЫНЕТ
 ГУБЫ КУСАЮ И НЕ МОГУ НЕ РЕВЕТЬ
 БЕРЕГ ТЕСНЕЕТ НА ДЕВОЧКАХ КЛИПСЫ И БЛЕСТКИ
 ЛОТОС ЛОЖАТКИ АЛЕЕТ СОЛНЦЕМ СОЖЖЕН
 ТАК ЖЕ РЫДАЛ ОБЕЗУМЕВ ОТ ГОРЯ
 БРИТАНСКИЙ ПОДРОСТОК
 ЛОНДОНСКИМ ЛЕТОМ
 КОГДА УТОНУЛ БРАЙЕН ДЖОНС



ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ
 И В ЕЕ КАРТОНКЕ
 СПРЯТАН ПАРИЧОК
 ЮНОША КЛИФФ РИЧАРД
 ВЗГЛЯДОМ ПРОВОЖАЕТ
 БЫВШЕГО МАТРОСА
 В ПАЛЬЦАХ ЭСКИМО
 БЕСКОНЕЧНО ТАЕТ
 НА АФИШЕ НАДПИСЬ
 ЧТО-ТО ПО-ИСПАНСКИ
 МОЖЕТ БЫТЬ ПО-РУССКИ
 QUANDO TU NOY ESTAS
 DIGAN LO CHE DIGAN
 «МАГИЯ ИЮЛЯ»
 СВЕТЛОЕ ВИНО
 ПРОДАЮТ НА ПРИСТАНИ
 КОЛЕСО ОБЗОРА
 ТРОНУЛОСЬ ДАВНО
 ЖИЗНИ ДРАГОЦЕННОСТЬ
 ПАЧКОЮ «ТРЕЗОРА»
 БРОШЕНО НА СУМКИ
 ПЛЮШЕВОЕ ДНО
 В ГОРОДЕ ТУННЕЛЕЙ
 СКЛЕПОВ ПОДЗЕМЕЛИЙ
 ПРОВИНЦИАЛЬНО МАЛО

И НЕ ТАК ТЕМНО
 КАК ТОГО ХОТЕЛОСЬ БЫ
 КЛИФФУ И ДЖОВАННИ
 И НЕ ГЛУБОКИ
 НО ТУННЕЛЬ ЛЮБОВНЫЙ
 ВСЕ ЖЕ СУЩЕСТВУЕТ
 ОН НЕ МИФ НЕ МИФ
 ЛУННЫЙ СВЕТ КАЧЕЛИ
 МЕДЛЕННО ЦЕЛУЕТ
 РАФАЭЛЬ ИСПАНСКИЙ
 ПОСЕТИЛ ДАМАНСКИЙ
 И ОТТУДА НА ТОТ СВЕТ
 19 ЛЕТ
 С НОЧИ ТОЙ ПРОМЧАЛОСЬ
 МЕСЯЦ ПОТУСКНЕЛ
 В ВОЗДУХЕ И В СЕРДЦЕ
 СКУКА И УСТАЛОСТЬ
 ЛЕДИ БОЛЬШЕ НЕТ
 ВЕДЬ ОНА ИСЧЕЗЛА
 ВОПРЕКИ ВЕСНЕ
 ВОЛОСЫ ОСТРИГЛА
 ЮНОШИ ОБЛЕЗЛИ
 ЕЛЬ РОНЯЕТ ИГЛЫ
 И ШУМИТ ВЕТВЯМИ
 МЕРТВЫХ СОСЕН ЛЕС

Маленькие трагедии смутного времени

Юрий Теплов

И отверзется вам...

Васька тряхнул головой, прогоняя наваждение. Ему показалось, что покойник ворохнулся и приоткрыл один глаз. Он взгляделся в желтовато-серое, гладко выбритое лицо друга. Тот приоткрыл второй глаз и шевельнул губами.

— Что за хреновина! — пробормотал Васька и опять тряхнул головой.

Глаза у покойника закрылись, он лежал в своем богатом гробу спокойно и надежно, при золотых погонах и при галстукe.

Еле признал Васька помершего Володю. Последний раз они виделись два с лишним года назад. За это время тот отпустил бороду. С чего бы старить себя, вон как седина природную ржу побила! Из-за бороды и лицо чужим смотрится.

— Никак не думал, что ты вперед меня помрешь, — укоризненно произнес Васька и поплотнее уселся на стул.

Все же успел он на похороны. Не захотела Володина Гидра просигналить о безвременной его кончине. Он узнал о том с опозданием и случайно. Подошел утром к сельповскому ларьку — замок. Решил, что запостелилась с новым мужем продавица Милка. Третьего уже поменяла после него. Никак не меньше сорока пяти бабе, а все едино — ровно калач с пылу.

Однако Фроська-Самопляска объяснила, что Милка уехала ночью в Москву на братнены похороны. Другого же брата, кроме Володи, у нее не было.

Полдня Васька собирал деньги на дорогу. Да и не собрал бы: самолетные билеты так вздемократились, что без порток останешься. Выручила та же Фроська, потрясла самоплясный кошель. Пообещал ей, как вернется с похорон, перебраться баню.

До Красноярска — без хлопот на электричке. А в аэропорту сутки

потерял — ни телеграммы, ни какой другой бумаги на руках, чтобы доказать билетную срочность. Сперва канючил попрошайкой у разных окошек, потом вывернулся на одну очкастую в синей тужурке:

— Унитаз — не аквариум! Усекла? Консервы не бросать!

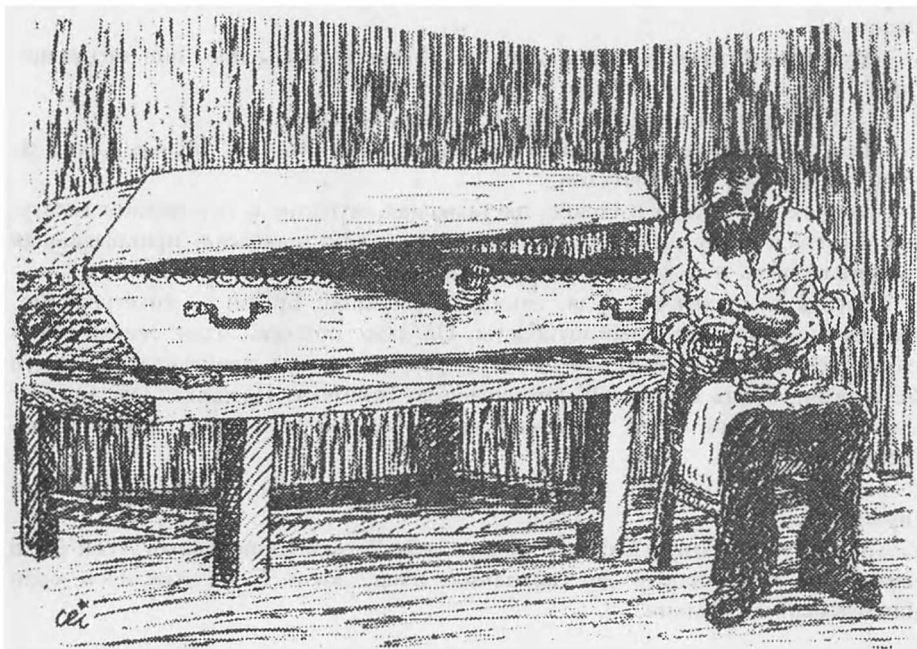
Та равнодушно брызнула стеклами очков:

— Отвали, дурдом нестиранный! — и захлопнула окошко.

Между прочим, про унитаз, который не аквариум, Васька и на самом деле услышал в дурдоме, куда попал по пьяной непутевщине.

Володя в тот год приехал в отпуск в сером парадном мундире с желтыми петухами, в новеньких капитанских погонах и при деньгах. Он еще не был женат на своей Гидре, да и Васька в те поры числил Володину сестру в малолетках. И мать их была жива — счетоводила в правлении, хоть и хворала сердцем. И вот стала их шпынять за то, что третий день погоны обмывают. Выпивки тогда в сельпо всякой хватало, на червонец втроем можно было уластаться. Ну, и махнули они от материних попреков в город, к Бэлже Данович.

Школьная их симпатия жила одна в ухоженной квартирке. И сама вся была ухоженная и фактурная — на любом месте ставь знак качества. Один недостаток имела: сильно хотела за Володю замуж. А он хомут одевать не торопился. Потом бы, может, и забрал ее, да уж больно она его подгоняла. Бабы, глупые, не соображают, что этим отталкивают мужиков.



Показался тогда Васька, что в третьих лишних оказался. Им бы лишь на матрас, а ему на кухне слышать и скрипы, и всхлипы.

От тоски и зависти нажогался „охотничьей“, была такая настойка — дешевая и сердитая. Душа тоже потребовала любви. Напаял на себя Володин мундир, сунул в карман поллитровку и отправился в белых тапочках в парк культурного отдыха.

Там и нарвался на патрулей.

В комендатуре с пьяного перепуту назвал себя Володиной фамилией, потом стал чего-то молоть про Вшивую гору, обозвал солдат санитарями и в отчаянной лихоте сиганул в окно со второго этажа прямо на кузовной брезент патрульной машины.

На Вшивой горе как раз и находился дурдом, а его главный врач — надо же такому! — оказался Володиным однофамильцем. Вот и решили военные, что он — сбежавший псих, а мундир снес.

Неделю провел Васька в дурдоме, соседствуя кроватями с широко бледным, седым и вроде бы нормальным мужиком, похожим на учителя.

— И дураки исрут братьев по разуму, — услышал от него в первое утро, когда очухался.

— Сам дурак, — огрызнулся Васька.

— Унитаз, Юноша, не аквариум. Не рекомендую бросать в него консервные банки.

Ваське эта мудрость показалась стоющей, запомнил. Вернувшись в деревню и выпив с мужиками под репку, выстал ее как последнее откровение.

Мужикам откровение понравилось. Молча поразмыслив, они поддержали:

— Консерва — не репка. Закусь в унитаз — грех.

Так закрепилось за Васькой прозвище: — Унитаз. А Володя уехал из отпуска без парадных петухов...

Зато теперь лежал в новом, цвета волны, мундире и при черном галетушке. По-свадебному выглядел, хотя и портяла вид простыня, прикрывавшая нижнюю часть тела. А чего прикрывать, не без штанов же!..

Васька поднялся со стула, откинул простыню. Брюки — со стрелками, на ногах — ненадеванные штиблеты. Он даже потрогал один, желая в том убедиться. Потрогал и отдернул руку, потому что нога шевельнулась под его пальцами. Опять с опаской дотронулся до банника. Подождал, не дрогнет ли Володя ногой. Нет, мертвым дрыгаться не положено, знать, померещилось.

— Я тут, — сказал он покойнику. — Прилетел вот. Исхитрился и прилетел.

„Куда как исхитрился!“ — укорил себя Васька за похвальбу. Так бы и сидел он в аэропорту до окончания денег, коли б не сжалился один бездельный носильщик.

— Сунь вон в то окно паспорт с деньгами. — подсказал. — и пять лысых сверху.

— Каких лысых?

— Красненьких, деревня! С портретом лысого вождя!

Окно было то самое, где сидела очкастая. Нашла билет, еще и ошерилась, стерва, за полтинник!..

..Что творится в стране! — опечаленно размышлял Васька-Унитаз, пролетая по небесам. — Взятки берут в открытую. Спекулируют кто чем может — теперь оно бизнесом прозывается. Ленина обзывают лысым, Горбачева — меченым. Ельцина в алкаши произвели... И злобятся все, ох, злобятся — на живых, на мертвых. Памятники в городах скидывают. А чего скидывать? На то они и памятники, чтобы память будить. Плохому ли, хорошему — а помни, что было. Хочешь — утрекай себя, а хочешь — историю с географией... Не перестройка, а смута и срам...“

Однако, ежели б не смута и срам, не успел бы Васька попрощаться с другом. Вот уж не думал он, что теперь в больших городах и помереть по-человечески нельзя. Володин сын, Виталик, разъяснил ему, что и как получилось с отцом.

Помер он нормально; по-современному, можно сказать, помер: от инфаркта и прямо на службе. Легко отделался от жизни. — раз и нету!

Военные сделали все, чтобы по-хорошему отправить полковника Володю на тот свет: отхлопотали кладбище, где начальников хоронят; побеспокоились об автобусах, об оркестре, о салюте. Одних венков десятка два привезли. А с гробом вышла накладка — не влез в него могучий покойничек.

Родня сама кинулась искать гроб. Румяный и нагло-здоровый парень из кооператива „Ритуал“ сказал:

— Для клиента особый бушлат* требуется. Называется „колода“. Сейчас нету. Загляните на той неделе.

— Ты что, ненормальный! — завопила Володина жена. — Какой бушлат! Какая неделя! Его надо хоронить завтра!

— Сочувствую, но...

Виталик намек уловил, недаром закончил школу с медалью. Отодвинул в сторону мать и произнес одно лишь слово:

— Спецзаказ.

— Ну, если „спец“, — понимающе откликнулся румяный Ритуал...

И все же на сутки с похоронами задержались. Гроб выкупили, когда кладбище уже закрывалось. Покойника привезли домой, чтобы побыл последней ночью среди венков и цветов.

Тут Васька и встретился с другом детства. А когда домашние, умаявшись хлопотами и переживанием, приткнулись для короткого провального сна в других комнатах, они остались в большой зале вдвоем.

* Гроб (жарг.)

„Лежит и не знает, что помер,— светло и строго философствовал Васька,— лежит и не знает, что я прилетел и сижу рядом“.

— Знаю,— слышалось Ваське.

Он удивленно вытаращился. Володино лицо было все таким же каменно неподвижным. Но желтизна с него вроде бы сошла, и борода уже не мешала узнавать знакомые черты.

„Леший одолевает,— подумал Васька. — А оно бы и ладно. коли бы шепнули ему там: вдвоем. мол. вы. как в родимой избе. когда ты приезжал на побывку.“

По первости Володя приезжал то из Средней Азии, то из Закавказья — рожа красно-коричневая, а тело белое. Офицерский загар, как он говорил. И всегда дарил Ваське зажигалки. Последнюю зажигалку привез из Афгана, на нее все мужики плялились: под голую девку сделана. Нажмешь на пушок, ноги раздвигаются, и пламя в●летает... Ни одной зажигалки у Васьки не осталось, то ли терял, то ли дружки прихватывали.

После Афгана осел Володя в Москве. Всего раз с того и видался с ним Васька, когда тот привез на могилу матери черный памятник. Недолго побыл, зато в те дни они не расставались, пока не опростали его набитый коньяком желтый чемодан.

Оно и правильно, что позаботился о выпивке. Даже у Милки, хоть и заведует ларьком, два пузыря всего нашлось. А Фроськин самоплас любой нос набок своротит — сахару нет, гонит из чего попало.

Пили они коньяк. Курили Володины нерусские сигареты в очередь с Васькиным самосадам, и обоим было тепло и негрустно.

— Чем ты хоть теперь командуешь? — спросил в тот раз он Володю.

— Бумажками.

— Скучота?

Володя молча кивнул и наплескал в стаканы.

— А зачем согласился? — допытывался Васька.

Тот сперва выпил, закусил привезенным им редким гостинцем — икрой, сказал:

— Самое сильное войско — бумажки.

— А душа не мается?

— Душа к тебе просится. Шелапуть ты, Васька, а прочный.

— Факт, — скромно согласился тот.

Володя распочал свежий пузырек. Налил Ваське поменьше, уберегал его от пьяного уползания. Сам же, сколь не пил, только бурел.

— Понимаешь, Вась, был у меня в полку один майор. Батальоном командовал. Ба-альшая подлюка!.. А я ему хорошую аттестацию написал и отправил в академию.

— Зачем же так?

— Затем, Вася. По полочкам жизнь раскладываю. И гляжу, на какой полочке больше.

— Не раскладывай.

— Не получается. Я, как шестерня, в одиночку не кручусь.

— Механизм хреновый, Володя. Ссучиться недолго.

— А если я уже ссучился?

— Тогда бы не сидел здесь.

— В этом и есть твой стержень, Васька. Вольный ты мужик. И от семьи вольный, и от неверия.

— Не, Володя. Пропала вера. С лигачевской отрезвилки началось. Как не поверил в нее, так и вышел один вред. Не верю вот, что нынешний бардак на пользу трудящимся, так и выйдет. На пользу жулью бардак.

— Не бардак, а демократия, Василий.

— Говно тоже калом обзывают, а все равно воняет.

Володя покривил угол рта, дернулся что-то сказать — не сказал.

— Пенсию-то наработал? — перевел разговор Васька.

— Нарботал.

— Ну, дак какого хрена маешься? На дембель — и до дому! Фермером, а? Свои-то боятся, а ты в папаше — не по зубам нашим волкам. Я тебе пятистенку срублю, а?

Володя поглядел на него с укоризной.

— Поздно, Вася. Моя пятистенка метр на два. А тебе спасибо, что приехал.

— Куда это я приехал? — не понял тот.

— На мои поминки...

Васька пошевелился на стуле и подумал: заснул, вот и лезет в сон всякая чертовщина.

— Устал? — спросил Володя.

— Дорога вымотала. Это тебе, полковнику, билет без очереди дают. А меня одна крынза очкастая дурдомом обозвала.

Ответил так Васька и поразился тому, что с покойником разговаривает. Значит, все еще спит, сидя на стуле. Ну, и пускай! Хоть во сне с другом поговорит.

Но чего-то замолчал. Ваське стало неуютно. Услышал, как в настенных часах прокуковала кукушка. „При покойниках часы останавливать надо“, — ворохнулась мысль. И сразу придавила тишина. Как мешок с зерном: мягко и тяжело.

Вспомнил, что на кухне стояли ящики с водкой для поминок. В самый раз бы теперь взбодриться! Оно, конечно, не того без хозяев, ну, да чать не обеднеет Гидра, ежели мужнин друг нальет без спроса стопарик.

Васька разлепил глаза. Ему показалось, что в комнате что-то изменилось. Обежал взглядом закрытое покрывалом трюмо, задернутые шторы, нетикающие кукушечные ходики. Оглядел напарадившегося в последний поход Володю: руки на груди связаны белым бинтом, чуть засборился мундир возле погона, лицо все так же неподвижно. А вот глаза

вроде бы приоткрылись. Будто смотрит на Ваську из-под прищуренных век.

Поднялся со стула. Провел по его лбу рукой, опуская веки, и услышал:

— Не надо.

— Так ты что, Володя, не до конца помер, что ли? — поразился Васька.

— До конца.

— Как же ты разговариваешь?

— Если бы похоронили, как положено, на третий день, так бы и ушел без звука.

— И все слышишь и видишь?

— Слышу и вижу. Муторно глядеть, как люди притворяются, что горюют. Соболезнования там всякие. А самим до лампочки, что я скончался.

— Горюют взаправду, Володя. Однако и для горевания перекур надобен.

— Мне виднее, кто взаправду, а кто нет. Моя только платочек к глазам прикладывала. Чужими жила, чужими и рассталась... Меня, Вася, только две женщины любили. Не оценил при жизни. Много мы чего не ценим, когда живые... Одна из них — Балка, помнишь ее? А вторая приходила вчера прижаться вместе с сослуживцами. Вот она горюет. Старалась не плакать, а губы тряслись. Белые гвоздики принесла. Хотела положить на грудь, а жена забрала и в ведро с водой поставила. Чтобы вид не потеряли до могильного холма.

— Она — любовница твоя, что ли?

Володя не ответил: тяжело, видать, покойнику долгую речь вести. Васька поерзал на стуле. Чтобы не молчать, произнес:

— За цветы-то, небось, пол-подушки отдала...

Володя зашевелил губами. Васька наклонился к нему и еле разобрал:

— Вынь из ведра ее цветы, положи на подушку. Ведро у входа.

Васька прошел к двери. Среди красных цветов, закрывших ведрный зв. вылезались десять белых гвоздик. Он вытащил их, отряхнул от воды. Положил, как просил Володя. Его голова чуть повернулась к цветам. Затем покойник дал знак глазами, чтобы Васька придвинулся.

— В книжном шкафу за „Военной энциклопедией“ старая кобура от „ТТ“. Там у меня заначка — доллары. Забери их. Половину отдай ей после похорон.

— Как же я ее утадаю. Даже звать не знаю как.

— Лизавета. В маибюро у меня работает. Фигура, как у Балки. И маленькая родинка на левой щеке — тоже, как у нее. Только волосы не черные, а рыжие.

— А вторую половину кому?

Володя ровно бы не слышал вопроса. Видно весь ушел в свои потусторонние мысли. Однако молчал он недолго.

— Я тоже думал: помер человек — и ничего не осталось. А умирает одно тело, Вася. Остальное же, как у живых, даже пошире... Я вот рядом с тобой, а вижу многих. Виталика в моем кабинете в кресле. Жену и

сеструху в спальне. Даже Лизавету вижу, сидит при свечках.

— Иному сквозь стены ничего не разглядеть, — поддержал Васька разговор. — Ты вот что скажи, Володя. Рай-то с адом есть на вашем свете? Не выдать тебе сквозь стены?

— Ох, Вася, будет ад мне вечным полигоном.

— Неужто столь нагрешил?

— По мелочи — считать собьешь. И не по мелочи было. Да и перепуталось все. Вася. Не разберу, где мелочь, а где нет. Знаешь, что свербит? Голос маленького сына: „Папа у вас?“ Он меня выследил, когда я к своей бледешке пошел. Она выпла на звонок в одном халатике. Исту, говорит, твоего папы. А я, срань такая, в комнате нагибом лежу и не оглазвляю!

— Выгалик забыл об этом давно, — успокаивающе произнес Васька.

— Выгалик бы забыл, — непонятно ответил тот.

Васька не стал уточнять, все ж-таки Володя не за столом, а в гробу — тут осторожность требуется.

— Так вот о грехах, — продолжал покойник. — Помнишь, рассказывал тебе про майора? Которого в академию сунули?.. Он воспитывал солдат от стенки до стенки. Девять солдат-первогодков у него сбежали. Двое так никуда и не добежали, пески съели. Остальные на чабанов наткнулись. Рассовали их потом по другим частям.

— Судить надо было того майора.

— Надо. И меня с ним. Перед матерями тех двоих я грешен, Василий. Красиво от них отделался. Денег выделит из командирского фонда. Офицеров с гробами отправил. А гробы-то пустые, Вася!

— Все-таки ссучился ты, Володя.

— Ссучился, Васька! Зато в генеральский дом стал вхож. Папаша того комбата большими делами ворочал в ГУКе.

— Где это?

— В главной конторе, которая кадрами управляет. Вход туда с пустыми руками запрещен. Вася! Но все приличненько и пристойненько. „Душевно к вам расположен. Иван Митрофанович. Примите от чистого сердца!“

— И что генерал?

— Принимал. Хотя и с оговорками: к чему мол все это?.. Сколько я вам должен?.. Тоже для приличия и успокоения партийной совести.

— Ты что, тоже давал? Зачем? Насчет сынка — понятно, себя спасал. А тут кого спасал?

— Обладуй ты, Вася. Чтоб в Москву перебраться! И видишь, перебрался. Он меня к себе в управление взял. А недавно замом сделал — генеральская должность. Не успел вот подлунгь.

— Мало тебе было в полковниках?

— Человеку всегда мало.

— Не гадал, что ты такой карьерщик.

— Я тоже не гадал.

— У Гидры, что ль, выучился?

— Она — так, подвесок. Сам, Вася, выучился. Гидра-то дочкой комдива была. Одну ступеньку перепрыгнуть помог мне ее родитель. И дальше бы помогал, да сторел на официантке.

Васька вообразил официантку в грязном переднике и толстого начальника — Володиного тестя, он корчился на ней в снем огне, а оторваться не мог. Картина получилась смутной и невеселой.

— Чего молчишь? — беспокоился Володя.

— Думаю. Выходит, Бэлку из-за начальниковой дочки бросил?

— Ты давно ее видел?

— Бэлку-то! Я же говорил в прошлый раз, что она за бугром. Взамуж туда вышла.

— Тетку не приезжала проведать?

— Посылки только шлет старухе. Вся деревня ходила смотреть на бабские кальсоны с кружевами.

— А ведь я ее любил.

— Чего же не женился. Перед ее отъездом даже слух прошел, что сын у нее от тебя.

— Сын, Вася. Виделся я с ним. Два раза. Первый, когда сам приезжал к Бэлке, ему полтора годика было. Мимо материного дома тогда проехал, тоже грех... Второй раз — Бэлка привозила, он уже в школе учился.

— Так она что, взяла и приехала к тебе без спросу? — перебил друга Васька.

— Писала мне. Ну, и договорились, что на недельку приедут. А прошло полмесяца, Бэлка про отъезд и не заикается... Наврал ей, что срочно уезжаю в горный учебный центр. Сам же — к Гидре. Ей папаша отдельную квартиру сделал... Лежу нагишом и слышу, как сын спрашивает: „Папа у вас?“ Хотел видно последний раз взглянуть на отца.

— И женился бы на Бэлке!

— Во-первых, Вася, Гидра тоже ходила беременной. Но и еще была причина. Ты знаешь, что такое пятая графа?

— Я и про первую-то не слышал.

— В пятой во всех анкетах про национальность пишут.

— Ну, и что?

— Это кирпич на дороге, Вася. Сам последние годы на кадрах сидел, знаю. Все на учете: и бабка, и дедка, и тем более — жена.

— Что же это получается, Володя? Если еврейка — значит, шпионка?

— За визами в Израиль тоже не шпионы в очереди стоят. Сионизм, Василий! Это тебе не управление кадров, в их штабквартире дураков не держат. Вон что с нашей страной натворили — нормальный гроб не купишь.

— Нужен твой гроб Израилю!

— Гроб для примера. А распад государства и весь бардак — спланированная акция.

— А Балка причем?

— Так ведь уехала же! Мы вот с тобой не уехали, а она уехала. И сына увезла.

— Жила бы с тобой, тут бы и сидела. Не дрыхла бы, а обихаживала в дальнюю дорогу.

— Нет, Вася. Сократили бы в первую волну. Или дослуживал где-нибудь в тайге.

— Оно и лучше. Глядишь, не помер бы.

Володя ничего не ответил на такой оборот. Раскладывал видно по полочкам: в тайге — зато живой, в Москве — а много ли проку от нее усопшему?.. Васька тоже молчал.

Время текло медленно и печально. Еще жалче стало Ваське друга. Прокатал жизнь в суете сует. Богатство — что? — оно остается на этом свете. Ладно бы, ежели б груз грехов тоже оставил. Нет же, никому, выходит, такого не дадено. Вот и получается, что человеческая жизнь — как тот унитаз, который не аквариум. Всю дрянь через себя пропускает. Не смоешь во-время — все, засорился узкий проход в незамкнутый мир...

Очнулся он от дум под Володиным прищуренным взглядом. Поежилея, не каждый день на тебя мертвые так жалобно глядят.

— Еще просьба к тебе, Вася. Панихиду закажи, забоялся я. Сходи в церкву и закажи из заначки.

— На свои закажу, Володя.

— Откуда у тебя свои? На обратную дорогу не хватит.

— На лесосплаве заработал.

— Не ври. Это живые вранью верят. К Фросяке в кабалу залез. Отдай ей долг. А баню править — пускай панимает.

Васька только крякнул в ответ на такую утадку и спорить поостерегся.

— Если Балка с сыном приедут, — продолжал свистящим шепотом Володя, — повидай их. Отдай сыну пять тысяч, там хватит... Я бы и „Волгу ему отписал, да видишь, как подорвался — без разведки и артподготовки.

— Все там будем, — философски изрек Васька. И спросил: — Ты долго еще станешь за нами подглядывать?

— Сорок дней, Васек. Ты меня на сороковины помани.

— Само собой.

— И Виталику накажи: девять дней и сорок. Я только теперь понял, что поминание для усопшего — освобождение его души. Иначе не найдет новую оболочку, вечно станет блуждать.

Васька представил неприкаянную блуждающую душу. Она имела Володино обличье и плыла среди звезд, покачивая оперенными руками. И подвывала: никто ее, бездомную, не пускал даже обогреться...

Ему стало зябко. Опять вспомнил ящички с водкой. Сказал:

— Ты вот что, полежи пока.

Хотел было объяснить, что хочет остопариться. Тем более, что Виталик и бывшая жена Милка угостили по приезду не жадничая. Вот трубы и

дымили малость... И все же застыдился Володя. Хоть и друг, а покойничек: компанию составить не сможет, а обидно станет. Правдивую отговорку придумал:

— Ты полежи, а я схожу отолью. И сразу приду.

— Знаешь, Вася, мне бы тоже в последний раз в туалет. Может, отведушь?

— Я ж тебя не подыму! Ты в два раза габаритнее меня.

— А я сам потихоньку. Только развяжи руки, да помоги подняться.

Как бы грузно ни было, но Васяка усадил Володю в гробу. Удерживая за спину, перекинул через бортник сперва одну его ногу, затем другую.

— Погоди, — попросил тот, — тело не подчиняется. Передохну. Посидел сколько-то минут, свесив ноги. Кивнул: давай, мол. Васяка перехватил его руку, закинул себе за шею, потянул, поддерживая. Володя коснулся ногами пола. Встал, покачнулся. Васяка не дал ему упасть.

— Порядок в танковых войсках, — сказал покойничек.

Ноги он переставлял едва-едва. До двери путь кое-как одолели. А коридор, ведущий в туалет, показался Васяке бескопечным и гулким. Где-то там, в конце его, находилась дубовая дверь с бронзовой картинкой: обезьянка с бананом на унитазе.

А Володя становился все тяжелее. Васяка понял, что не дотянет друга, не выполнит его последнего желания.

— Не судьба, Володя! — выкрикнул он, чувствуя, как тот оседает.

Сделал последнюю попытку удержать тело — не получилось. Мелькнула торопливая мысль, что все это сон, и хорошо бы проснуться. И тут же услышал грохот: падал, они опрокинули таз с поминальными лепешками...

На шум из комнат выскочили родственники.

На полу лежал покойник, вытянувшись и скрестив на груди руки. Рядом с ним в неудобной позе застыл Васяка.

Гидра закричала. Виталик растерянно прилонился к косяку. Милка опустилась на корточки. Сперва оправила брату кипель. Затем прилонила ухо к Васякиной груди.

И он, холодея, забеспокоился: как же теперь с Володиной заначкой? Кто передаст деньги его сыну и Изавете? Кто закажет паныхиду?..

Тут перед ним выросло и все заслонило видение: лут с ромашками, молодая и русокося Милка в желтом сарафане, и стрекочут-стрекочут кузнечики...

С того дуга донесся Милкин голос:

— Кажись, мой бедный Унитаз тоже Богу душу отдал.

„Значит, покойники и взаправду все видят и слышат“, — подумал он.

И успокоился.

„Кардан ей в радиатор!..“

Она уходила из конторы последней. Вахтерша баба Паня спросила на выходе:

— Чаю хочешь, Валюха?

— Налей,— согласилась она.

В заварку баба Паня добавляла разных травок, чай получался запашистым и терпким.

— Оно и то: куда тебе торопиться? — говорила она. — Ребятенка нет, мужа нет... А хахаль-то у тебя есть?

— Нету,— ответила Валюха.

— Почто так? Баба ты видная, с образованием. Отдельную квартиру имеешь.

Она не ответила. Бездумно пила обжигающий чай.

— Оно, конечно, хахаль — не муж,— продолжала вахтерша. — А ежели хахаль путейный, то и краше мужа не бывает. Только откуда ноне путейные? Тоже перестроились, собаки! Поне ему поллитру ставь, без поллитры не заманишь... А она, поллитра-то, кусается. То отрезвиловка, то тыщи плати!

„А у меня дома и коньяк, и водка,— подумала она. — Еще по талонам отпускали. Только выпить некому. Пусть бы объявился какой — я бы его приручила“. А вслух сказала:

— Не надо мне, баба Паня, хахалей. Одной легче.

— Куда как! — возражающе произнесла та. — Здоровой бабе без мужика легче не бывает.

„Все-то знает, старая. А где его взять, мужика? Не подойдешь же к первому встречному, не скажешь: пошли со мной! А на работе бабье царство, и больше половинны — безмужине“.

— Я, молодая была, не терялась, Валюха. И свой был завалинций, и начальник сплава, я у него кладовщицей работала, счастливил. А один дурной сплавник и снасильничал. Порвал дурак трусы. Я ему кричу, чтобы он поаккуратнее. Куды там! Сонит, как буйвол, и лезет. А уж старался:

против него оба моих — никудашки. Потом встал, штаны застегивает и мне говорит: „Чего разлеглась. Хризантема! Простынешь — не прогрелась еще земля!“ Заботливый оказался.

— А что потом? — спросила Валюха.

— Велела ему: приходи завтра на это же место! Все лето и бегала к нему, пока сплав не кончился.

— Не встречались больше? — спросила она.

— Когда уезжал, навяливалась ему. Возьми, говорю, с собой, верной сучонкой буду. Отказался. Своя у него дома была, да ребятишек трое... А я бы пошла за ним. Шибко мужчиный был. Другой такой на моем бабьем веку не попадался. Наше счастье, Валюха, только через это дело и поимается!

— Спасибо за чай, баба Паня, — сказала она. — Пойду...

Путь до дома был — всего один короткий квартал. Лучше бы она жила подальше, чтобы забыть про одиночье в уличном многолюдье. Стенки однокомнатной квартиры давили на нее с четырех сторон, выжимали жизненные соки. Когда-то в квартире пахло мужским духом, но он давно повыветрился. Если б вернуть то время, все бы сложилось по-другому. Пускай бы он разбрасывал окурки, пускай бы его дочь приходила хоть каждый день. И друзей бы пусть водил. Она сама бы сидела с ними за столом, а выпроводив и перемыв посуду, подлезала бы к нему, миловала бы, откинув одеяло. И детей бы нарожала, не откладывая на потом... Но ушел глупый, с одним старым портфелем, потихоньку ушел. Только записку оставил: „Ухожу совсем, мы с тобой разномысленники“. Слово-то какое придумал: разномысленники!

Позже, когда ночи для нее стали долгими и душными, она сделала вдруг открытие: а ведь он был прав. Но, господи, как поздно дошло! И от того, что вернуть ничего нельзя, оскорбилась чуть не до истерики: мужик же! — должен был объяснить, а не убегать...

Дом был уже близко. Она хотела оттянуть встречу с опостылевшими родными стенами, свернула в боковую улицу. С нее через парк тоже можно было выйти к дому. Шла петоропливо. Лениво вспоминала разговор с бабой Паней. Мысль ее задержалась на лесосплавнице-насильнике. Это ужасно, подумала, когда насилуют. И тут же голос бабы Пани произнес, будто въяви: „Заботливый оказался“. Как он ей там сказал? Чего разлеглась, Хризантема?..

Отцвели хризантемы...

Стоял июнь. Липкие сумерки облизывали город, оседали на деревья и кусты за железной парковой оградой. Оттуда доносилась музыка, сзывая бесштаных девчонок на дискотеку. Играли что-то современное, безмотивное, а ей слышалось: „Отцвели уж давно хризантемы в саду...“

Почему мужчина насилует женщину? — думала. Почему? Может, потому, что одинок и уже неспособен? А как договориться — не знает, не

уверен, что может понравиться женщине... Я вот тоже не уверена. Также не знаю — как, и не знаю с кем...”

Три года назад появился в их конторе новый наладчик — Толя разведенец. Вздуроражил весь незамужний женский батальон. А он положил глаз на нее, она это ощутила кожей. Оглядывал, будто раздевал. Говорил с ней, ровно бы шептал на ухо ласковые непристойности. В столовке садился за один стол с ней. И однажды спросил:

— Ты как в смысле секса?

— В каком смысле? — ей показалось, что ослышалась.

— Ты одна и я один. Как там грузин поет? „Вот и встретились два одиночества...“ Встретились и прямо у дороги устроили секс.

— Однако вы нахал!

— А как же! — довольно согласился тот. — Так я зайду за тобой после сигнала.

— Какого еще сигнала?

— Бросать работу и переходить к семейной и личной жизни.

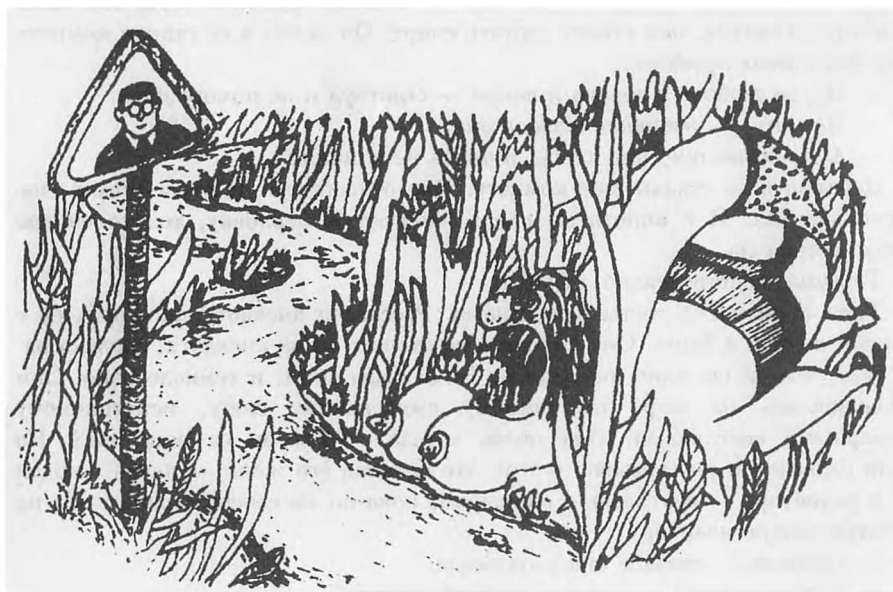
Она была почти в шоке.

— Не надо за мной заходить, — произнесла строго.

— Все равно зайду.

До конца рабочего дня она металась мыслями. Без пяти пять он появился в дверях их заполненного столами и женщинами кабинета, щелкнул пальцами, привлекая внимание.

— Мой массовый поцелуй! — объявил, обежав взглядом улыбающиеся



линца. И ей персонально: — Жду внизу, Валюха.

И она вдруг успокоилась: „Все зависит от меня“. Несуетливо и молча собралась под хиханьки подруг и сделала шаг навстречу личной жизни.

Толя ждал ее у столика бабы Пани. Был в распахнутом полушубке, при галстукe и без шапки. Спросил:

— К тебе пойдeм? Или сперва в кафешку?

Она тысячу лет не была ни в кафе, ни в ресторане. С той самой поры, как ушел разношлeнник. И все же поколебалась по причине своего ненарядного свитера. Но махнула на такую мелочь рукой. Музыка и шампанского в кафе не оказалось. Это сейчас на каждом углу бутылки на любой вкус. А тогда антиалкогольная кампания вымела из питейных заведений все спиртное.

Толя-разведенeц усадил ее за грязный столик. Принес на подносе два винегрета, две подозрительно синюшных рыбы с перловкой и четыре компота. Достал из кармана газетку, протер стол. Выпил махом стакан компота, другой протянул ей.

— Тару освободить надо.

Она отказалась, и он выплеснул компот в кадешку с засохшим фикусом. Придвинул свой стул поближе к ней, уселся по-хозяйски. Достал из нагрудного кармана плоскую металлическую фляжку.

— Лаборантка Надья отоварила.

Наплескал из фляжки в освободившиеся стаканы.

— Тебе разбавить? — спросил.

Она, помедлив, кивнула, понимая, что должна пройти и через это. Хотя и не представляла, как станет глотать спирт. Он долил в ее стакан компота и со значением произнес:

— Ну, за любовь у дороги и вездe! — сглотнул и не поморщился.

— Не могу, — жалобно сказала она.

— А ты символически. Чтобы тормоза не клинило.

Добавил в ее стакан еще компоту. Она отхлебнула. И отхлебывала еще несколько раз. И с аппетитом съела винегрет и перловку, только синюю рыбу не тронула.

Тормоза, действительно, ослабли.

Толя произносил тосты с намеками. Рассказал анекдот, как Горбачев с Раисой ходили в баню. Она смеялась не столько из-за анекдота, сколько из-за того, что он ею явно любовался. Тогда была зима, и темно рано. Они возвращались из кафе по мягкому свеженькому снегу, испятнанному фонарными светляками. Она очень хотела, чтобы он ее поцеловал. Но Толя-разведенeц рассказывал о том, что бывшая его жена — лярва, кардан ей в радиатор! — спуталась с офицером, пока он на севере зарабатывал на кооперативную квартиру.

— Пришли, — сказала она у подъезда.

— Куда пришли? — прервал он свой рассказ.

— Я живу в этом доме.

— Ну, так айда к тебе!

— В другой раз, Анатолий, ладно? — просительно ответила она.

— Дома кто, что ли? Баба Паня сказала, что ты одна живешь.

— У меня не убрано!

— Начхать! Мы даже свега включать не будем.

— Нельзя же так, сразу!

— Не понял! — отдельно проговорил он.

— Ах, Анатолий! Вы, наверное, меня не за ту приняли!

— За ту. Мы же оба изголодавшись.

— Все вы, мужчины, одинаковые, — заговорила она, с ужасом чувствуя, что говорит не то. — Вам от женщины одно надо: переспать. А женщина по-другому устроена.

— Все мы одинаково устроены. Говорил тебе: выпей еще. Вот тормоза-то и клинят.

Она заметалась мыслями: „Впустить? Плюнуть на все условности?.. Бог с ними, с условностями!.. Но ведь не придет больше! Если уступить с первого вечера, интерес потеряет. Возьмет свое, и только его и видели!“

— В другой раз, ладно! — она искательно и жалобно дотронулась до его рукава.

— Другого раза не будет! — отчеканил он. И, уже уходя, обернулся: — Вот и ходи не е..!

Матерное слово слетело с его губ естественно, в нем была голая физиология и ничего боле. Потому его прощальная фраза врезалась в память, как откровение мужской философии, понять и поколебать которую женщина не в силах.

Он уходил, и она, обреченная снова на четыре стены, глядела на его следы, пока их не присыпал снежок.

Приглубила его Надька-лаборантка. Через полгода они расписались. Еще через пять месяцев Надька ушла в декретный. А она, Валюха-горюха, осталась со своими принципами и с открытой форточкой, через которую в ее четырехстенную коробку залетали летом с соседнего балкона шорохи и стоны: там соседский сын из-за отсутствия жилплощади спал со своей юной женой..

Музыка от танцплощадки стала звучать громче. В нее уже не вписывался старинный романс. Она вызывала раздражение и желание избавиться и от нее и от облика Толика-разведенца, который так и маячил перед глазами. Даже бабин Панин сплавщик имел Толино лицо и говорил его голосом: „Чего разлеглась, Хризангема!“ Мысли роились одна другой дурнее, а самая дурная, с писклявым голоском, так и пыталась протиснуться вперед: „Если бы сейчас из кустов выскочил насильник, стала бы ты сейчас звать на помощь?“

Женщина не захотела ответить себе, только ускорила шаг. Чтобы

сократить путь, пошла напрямую, по траве, отодвигая встречные ветки локтем.

— Ложись! — вдруг услышала она приказной мужской голос и не поверила тому, что услышала. — Ложись, кому говорю!

Она мысленно ахнула, растерянно закрутила головой.

— Ложись!

Оглядела сумеречную землю, торопливо шагнула под самый куст, где трава была гуще. Села, опрокинулась на спину. Слова попыталась разглядеть сквозь кусты того, кто решил ее изнасиловать. Ничего и никого не разглядела. Мелькнула мысль, что колготки у нее новые, еще порвет их насильник в порыве страсти! Чуть приподнялась, приспустила колготки. А тот явно не торопился.

Кусты зашуршали не с той стороны, откуда она ожидала. Она закрыла глаза. Слышала, как насильник остановился возле нее, и как будто опустился на колени. Она даже ощутила его дыхание. Наконец, что-то холодное коснулось ее щеки.

Она приоткрыла один глаз и прямо у лица увидела бульдожью морду.

— А-а-а-й! — вырвалось у нее непроизвольно.

— Вам плохо, гражданочка?

Из сумерек возник рослый мужчина в спортивном костюме.

— Вам плохо? — повторил.

Она воровато и неуклюже подтянула колготки, села,правила платье. Произнесла жалобно:

— Кто-то крикнул из-за кустов: „Ложись!“ Я испугалась.

— Извините! Это я собаку тренировал.

Она подобрала сумочку, встала, отряхнулась. Растерянно огляделась, соображая, в какую сторону идти.

— Тропинка тут рядом, — сказал хозяин собаки. Он был мордатым, чернокудрым, мужчиным был, как сказала бы баба Наня.

— Знаю, — ответила она.

— Может, вас проводить до выхода из парка?

— Не надо до выхода.

Она сделала несколько шагов, остановилась, оглянулась.

Мужчиный непасильник стоял столбом.

— Вы лучше не собаку тренируйте, а жену! — в сердцах крикнула она.

— Кардан ей в радиатор!

Дома ее, как всегда, ждали четыре стены...

Лена Кешман

Письма из Иерусалима



Ловушка Бога

Во всех книгах, написанных людьми той цивилизации, в которой мы родились и обрели сознание, Город этот присутствует — Творением, Началом, Заветом, Храмом. Иерусалим — место не только мистического, духовного, но и физического пребывания Бога. Так сказано мудрым рэбе, Моше бен Маймоном, Маймонидом, Рамбамом.

Так думают и чувствуют евреи...

Стена Плача. Площадка, разгороженная на две неравные части: Слева — мужчины, справа — женщины. Пучки омель пробилась сквозь кладку.

Почти до блеска истерты камни, до которых может дотянуться рука. Цветные платья женщин и черно-белые одежды мужчин — подножьем, ковром расстилаются на светлых плитах каменного пола. К Стене Плача приходят все, кто приезжает в Иерусалим. Иерусалимские евреи по субботним дням тянутся сюда из близкого Нахлаота и удаленного Рамота, из Бейт-Вагана и Кирьят-Моше. Причудлива топография Города, причудливы названия, скрывающие в себе знаки о людях, событиях, мечтах, снах... Со всех холмов иерусалимских тянутся людские ручейки. Суббота — праздник. В руках идущих — бархатные чехлы, шитые бисером и золотыми нитями, в них — тфилин, ленты филактерий... Еще — Тора.

Или — сидур, молитвенник. Детишки, наряженные и возбужденные — семенят мальшовыми своими шагами: белые чулочки девочек, лаковые туфли мальчиков... Черные выутюженные сюртуки, капоты, пальто — отцы семейств. Праздничные платья женщин, всегда узнаваемые — локти закрыты, вырез платья строг, ключицы не видны, длина юбок строго отмерена. Чулки.. Зима ли, лето ли... Шляпки с вуалетками, парики, черные фетровые ширококрылые мужские шляпы, меховые — почти чабанские — штреймл... Они идут пешком — час, полтора. От моего дома до стены Плача — полчаса ходьбы. Если подниматься на север. В полчаса ходьбы от моего дома в сторону противоположную — на юг — Вифлеем. Грот Рождества, в котором стояли ясли. Сын Божий — это — вторая часть иерусалимской души. Иерусалим, место искупления, Спаситель, страсти, Воскресение и Вознесение. Церковь Вознесения на Масличной горе — венчает город. К Храму Гроба Господня, святые из святых христианства — потоки туристов, столь же нескончаемые, как и к Стене Плача.

И в субботу, и в воскресенье. Всегда.

Туристы пестры и многолики. Юные загорелые английские мальчишки — то ли студенты на каникулах, то ли бродяги. Чопорные,

с путеводителями в руках супружеские пары североамериканцев. Стайки паломниц из Японии, Аргентины. Черные — но белизна лица, но быстрота взгляда! — русские монахини из обеих русских церквей — „Белой“ и „Красной“. Коричневые подпоясанные веревкой рясы францисканцев; серо-черные на фоне бронзовых лиц одежды коптских монахов. Долговязые с длинными шеями, похожие на верблюдов эфиопы — все уже знакомы в лицо, хочется поздороваться. В развевающихся рясах, упитанные, ухоженные греческие священники; серо-голубые платья — косыночка аккуратная, с белой подкладочкой — французские монахини. Пастор ведет своих прихожан — привез в Святую землю... Поляки, венгры, румыны, итальянцы, испанцы... Вся эта помесь, пестрота людская во все дни недели — запруживает, затапливает узкие улочки Старого Города — „Ир-а-Атика“, лабиринта, которому, кажется, никогда не грозит обрести свою Ариадну... Лабиринта, в котором только старожил отмечает по знакам, ведомым лишь ему, посвященному, — куда ведут короткие, сводчатые, с нависающими над головой стенами и балконами, улицы святого Города. Когда-то самая первая дорога в Иерусалим шла от средиземного города-порта Яффо. Улица Яффо — главная артерия Города. Прямоком, разрезая нанизанные на нее кварталы нового Иерусалима, ведет она к Старому Городу, к Яфским воротам. Новые стены, в которые вложили камни и турки, и крестоносцы, и кто только не вложил — не так стары, как сам город. Но названия ворот — пережили стены. Как и тысячи лет назад, называют — одни мусорными (через них вывозили из Города мусор в долину Гееном, и уверяют, что „Геена Огненная“ — от имени этой долины и произошла), другие — Сионскими (те, что на гору Сион выходят, к могиле царя Давида и к дому, где проходила Тайная Вечеря)...

Львиные ворота, Шхемские...

Яфские ворота — круговерть: два поворота на девяносто градусов — ради безопасности — и площадь, на которой начало трех путей — в тишину христианского квартала, в бесконечный изгиб армянского и — прямо, не ошибешься — на непроходимую от пришельцев и торговцев главную для паломников, дорогу к Храму (сто метров вперед, налево).

Только в дни страстной недели (а их здесь две — католическая и православная) поток этот течет от Львиных ворот, как шел Христос: мимо дворца Царя Ирода, мимо дворца римского наместника, места допроса и бичевания, мимо... Паломники знают, мимо чего они проходят. „Виадолорозо“, Крестный путь, откуда свернуть лишь — и через чистые, мощеные новыми плитами, сияющие блеском новых стекол улочки — Еврейский квартал, арка хурбы — разрушенной арабами и оставшейся памятником синагоги, спуск к Стене... „Я живу в Иерусалиме“ — странное высказывание. Странное состояние. Иерусалим — мистическое пространство. Центр мира. Пуп земли.

На старых картах цветов: лепестками Азии, Африка, Европа, а в центре Город. Жить внутри стен Старого города — во сто крат более странно. Но — живут. В основном арабы: мусульмане и христиане. После 1967 года — заселился и расцвел еврейский квартал. Пустеет и безлюднее только армянский квартал.

Арабский мальчишка с золотой цепью на шее и с крестиком, болтающимся на грязной рубашке, расталкивает своей тележкой мешающих ему зевак, с особой силой гортанного крика своего отгоняет, прижимает к самой стене двух худющих подростков с книжками под мышками, с завитыми — кокетливо — пейсами, свисающими вдоль не знающих загара шей... Над улицей, носящей имя давно канувшего в лету арабского шейха, — бело-голубой флаг. Значит, в этом доме живут евреи...

В Старом городе много солдат. Военная полиция. Туристы с трепетом пристраиваются — фотография на память. Иерусалимские впечатления немислимы без этого мига: в пяти минутах от Голгофы, на фоне лоснящихся лиц арабских торговцев — в обнимку с израильским солдатом, при автоматах и прочей амуниции. Иерусалим — это экзотика. Верблюды у входа в Гефсиманский сад... Еще одна фотография...

Жорж, владелец лавки около Храма Гроба Господня приветствует меня.

Старый знакомый.

— Странная ты еврейка. Часто приходишь сюда. Приводишь гостей.

Покупаешь кому-то мои крестики и свечи... Не боишься?

— Кого? Тебя? Нет.

— А другие боятся. Русских приходит много, но они какие-то испуганные. Чего они боятся?

Я не знаю.

Сереза Бардин, с которым два года „совершали алию“, буквально „восходили“, входили, вживались в Иерусалим, а теперь уж не виделись почти полгода, — уехал по работе в Москву — говорит, что понял, чего боятся „русские Израила“. Он написал об этом в газете „Иностранец“ (Сереза в Москве и впрямь сегодня иностранец, а здесь был местным, хотя и приехавшим недавно...). Сереза написал, что „русским Израиле“ стыдно быть русскими, и они прячут свою русскую душу, так, что днем с огнем не найти. А он, Сереза, нашел-таки: в Вифлееме. в том самом гроте, где две тысячи лет назад родился Христос. Там, в темноте и укромности подземелья, встретил их русский писатель, израильянин из Москвы... Там им не страшно, потому что там — не видит никто... Зачем он так глубоко забирался? Их — везде много. Или я вижу как-то по-другому? В Храме Гроба Господня — светло. И на Голгофе, и у места оплакивания Христа, где на мертвого Спасителя надевали саван, чтобы схоронить по иудейскому обряду, и у самого гроба. Светло и — оживленно. Странное это соединение оживленного места и Гроба... А на вершине Масличной горы

тихо и пустынно. Арабская деревня, школьники, возвращающиеся после уроков, мужчины чинно пьют кофе, запах кардамона — запах арабского кофе... Редкие туристы, сопровождаемые гидом — арабом-христианином... Когда добираться туда — местные смотрят, как в Москве смотрели бы на попугая, летающего по Нескучному саду... Сумасшедшая еврейка...

Или не признают за таковую. Никто не обидел. Пока...

Жорж передает привет отцу Серафиму — знает, что я часто и с ним вижу. Отец Серафим — монах из Святого Креста греческого монастыря, в котором похоронен Шота Руставели... Жил там грузинский поэт точно, что похоронен там — легенда... Покупаю у Жоржа очередную дюжину перламутровых крестиков, которую увезет в Москву мой друг-еврей, по сей день участвующий в „русской революции“...

Отец Серафим встречал нас, сплошь евреев, сплошь увлеченных туристским азартом, и показывал не только место, где срублена „та олива“, из которой был сделан крест для распятия, но и сокровища свои, гордость свою — музей: иконы русские, вышитую карту Палестины, грузинские иконы. Но я не смогла передать ему привет. Отец Серафим, который выучил русский язык и обожал нас, потому как мог вести с нами неторопливые беседы об истории, о книгах Алпатова, об Андрее Рублеве — исчез. Никто в монастыре не знает, куда уехал... Дела монашеские...

На Храмовую Гору, где сейчас святины мусульманские, я хожу так же спокойно, как и в Храм Гроба Господня. Мечеть Аль-Акса, с семью рядами уходящих в небо колонн... И еще четыре ряда оставшихся от разрушенных колонн оснований — на площади слева от мечети, потому как разрушали и строили на месте сем многое. Все пространство этой невообразимой мечети выстлано тысячами ковров. Ряды снятых туфель, сапог, сандалет — вдоль наружных стен, у входа... Над колоннами между ними — голубизна, золото, изумрудная зелень, солнечная желтизна изразцов... Как в Бухаре и Самарканде, только все огромнее — дух захватывает. И „Мечеть над камнем“, которая вовсе не мечеть, а просто „павильон“... Над тем самым камнем, с которого по преданию Магомет вознесся... На том месте, где некогда находилась святая святых и помещался Ковчег Завета... На месте, где, как говорят, Авраам собирался принести в жертву Исаака. Все соединилось, вместилось, впечаталось в камень... Правоверные евреи не ходят на Храмовую Гору — до той поры, покуда не будет построен Третий Храм... Остаются строгие и точные в исполнении Завета евреи у подножья горы, у **Стены**, там плачут... А я хожу. И гляжу оттуда, сквозь римские арки — на Гефсиманский сад... На могилу Богоматери. На могилы еврейских пророков. На причудливую башню, возвышающуюся над горой Скопус — над Еврейским университетом, в котором учится сегодня моя дочь и дети многих „русских“, вернувшихся в Землю обетованную... В какой-то степени мы, „русские Израиля“ или „русские еврей“ —

может быть, похожи на место, в котором живем. Похожесть эта — в борении двух разных, часто — несводимых, борющихся друг с другом начал. „Я — еврей, но я русский интеллигент“, — говорил мой учитель Владимир Павлович Эфроимсон, нестигаемый генетик, борющийся с Лысенко, прошедший двадцать лет в лагерях и ссылках и написавший книгу о торжестве альтруизма в человеческой истории... Эти „русские интеллигенты“, не все, конечно, но изрядное число — прокладывают свой путь здесь, меж камней Иерусалима. Не приобщиться, не проникнуться, не пропитаться духом Торы, не ощутить себя частью народа Израиля — невозможно. Отказаться от великого духа христианской культуры — непредставимо. Душа русского еврея — двоится в попытке удержать одно и обрести другое. Проще всего — учиться у Города. Может быть, это не борение двух, а соединение? Не разрыв, а удвоение? Кто знает?

Иерусалим — высоты холмов и темные провалы долин. Три религии.

Три огненных столпа. Неслиянных?

Рождественские звезды на дороге в Вифлеем. „Дерех Бейт-Лехем“ — мой адрес. Синагога во дворе моего дома. Сосед из квартиры на первом этаже сидит на каменном парапете — талес, тфилин... Клара — моя собака, уважительно лизнула ногу — не мешает... Пастух-араб гонит стадо черных овец по склону холма — я вижу их из своего окна... Христианские захоронения времен разрушения Второго Храма под соснами, посаженными семьдесят лет назад. Черные овцы, сгрудившиеся на раскопках.

Дочь моя пишет курсовую работу — „Был ли Христос христианином“ и читает на арамейском кусочки текстов из свитков, найденных в Кумране, на берегу Мертвого моря, куда опять в марте поедем — собирать маки и анемоны...

Немыслимый спектакль по пьесе, которую невозможно написать.

Спектакль этот — наша жизнь. В основе драма. Иногда — трагедия.

Нередко — фарс... Но всегда герой выходит на сцену с тяжелым грузом за плечами...

Стихи московского поэта Сережи Барсукова, уехавшего из Москвы два с лишним года назад, и запутавшегося в сетях Иерусалима:

*О Господи, в твоей ловушке —
В твоей недремлющей руке —
Какие могут быть игрушки,
Какие судьбы налегке?..*

Ловушка Господа. Иерусалим. Место Его пребывания.
Место нашего пребывания.



**В той знаменитой бульдозерной выставке
приняло участие 24 художника.
Сегодня число мнимых участников перевалило за тысячу.
Впору учредить юбилейную медаль...**

Вячеслав Сысоев

20 лет бульдозерной выставке



Этот год был не хуже и не лучше других. Миллионы советских людей, как было принято говорить, работали, перевыполняли планы, готовили к запуску космические корабли, брали «социалистические обязательства», охраняли покой наших границ, осуждали литературного власовца А. Солженицына, в феврале этого года высланного на запад, клеймили позором продавшегося американской военщине академика Сахарова. Интеллигенты читали запрещенные книги, слушали враждебное радио, в курилках НИИ рассказывали анекдоты про Брежнева и ленинское ЦК.

Советские руководители поздравили братские народы ДРВ и КНДР с годовщинами провозглашения независимости. Отпраздновали день работников нефтяной и газовой промышленности, день танкистов. И почти никто не знал, что вот-вот произойдет невиданный скандал. Дело в том, что в Москве уже довольно давно существовала группа художников, доставлявших властям много хлопот. Вообще-то это было не только столичное явление. Группы непризнанных «нонконформистов» были в Питере, Одессе, Киеве. Но именно в Москве сформировалось движение неофициальных художников. Тогда их фамилии были почти неизвестны. Еще в 1957 они пытались заявить о себе. Потом была знаменитая встреча Н.С.Хрущева в Манеже с художниками-модернистами. Никита Сергеевич, тонкий интеллект, обозвал их «пидарасами», заявив, что за такое искусство им надо показать мать Кузьмы. Весной 1974 года группа художников «лианозовской» школы, которую возглавлял Оскар Рабин, решила выйти из подполья. Международный климат потеплел. США собирались подписать договор о режиме наибольшего благоприятствования в торговле с СССР.

Желая найти выход из тупиковой ситуации, в которой они находились, художники-модернисты обратились в Моссовет и партийные органы с просьбой разрешить им устроить показ работ на открытом воздухе. 24 художника из Москвы, Питера, Пскова, Одессы должны были принять участие в выставке. В принципе до этого момента художники могли показывать работы только в мастерских (у кого они были), узкому кругу

знакомых. Попытки устроить выставки в официальных залах немедленно пресекались гебистами и парторганами. Так, например, выставка 12 художников в клубе «Дружба» на Шоссе Энтузиастов в 1967 году, организованная коллекционером и поэтом Александром Глезером, просуществовала только 2 часа.

В начале сентября 1974 года инициаторы предполагаемой выставки вызывались властями на собеседование. Место будущей выставки было выбрано на отшибе, на окраине Москвы, на большом пустыре в Беляево. Таким образом художники как бы подчеркивали, что они не собираются мешать движению общественного транспорта и нарушать общественный порядок. Идеологические начальники не говорили ни да, ни нет, тянули время и неопределенно угрожали карами за «несанкционированные действия». Оповестив знакомых, друзей, иностранных журналистов и дипломатов о готовящейся акции, часть художников заранее привезла работы на квартиру математика Тупицына (живет сейчас в США), обитавшего тогда рядом с пустырем, в Теплом Стане. 15 сентября Оскар Рабин, Валя Кропивницкая (жена художника), сын Саша (тоже художник), коллекционер Александр Глезер и Евгений Рухин (из Питера), держа в руках по две картины, доехали на метро до Беляевского пустыря. Другие художники — Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Надя Эльская, Комар и Меламид, Михаил Федоров-Рошаль, Сергей Бордачев — добирались до Беляево самостоятельно. Был полдень. Наступал момент открытия не запрещенной и не разрешенной выставки. У выхода из метро группу художников задержала милиция. Они провели в отделении полчаса, поскольку выяснилось, что они подозреваются в ограблении. Когда их отпустили, и они дошли до пустыря, их взгляду представилось феерическое зрелище: под мелким морозящим дождем, на улице, примыкающей к пустырю, собралось



Эта фотография, сделанная американским корреспондентом в Беляево, обошла 20 лет назад весь западный мир.

человек 500 зрителей, а на самом поле стояли грузовые машины с «рабочими», держащими в руках лопаты и саженцы деревьев. По полю ходили молодые энергичные «случайные прохожие», державшие в руках плакаты «Все на субботник!» (Было воскресенье). Кроме того, тут же были поливальные машины и три бульдозера.

Художники распаковали работы и собирались поставить их на треножки, когда «рабочие» вдруг заявили, что именно сегодня тут будут сажать деревья, и художники будут им мешать. Тогда «нонконформисты» решили перенести работы чуть подальше. Но «рабочие» и «случайные прохожие» не дали им это сделать. Они стали вырывать картины, топтать их ногами, бросать в кузова грузовиков. Бульдозеры двинулись вперед, грозя снести весь этот модернизм. Картину Рабина бросили под бульдозер. Он кинулся наперерез, пытаясь остановить его. Машина не останавливаясь, двигалась вперед. Рабин висел на верхнем ноже бульдозера, поджав ноги. Потом бульдозер все-таки стал. «Рабочие» и «прохожие» избивали художников, волокли их по глиняной жиже «куда надо». Избивали наиболее активных зрителей и западных журналистов: французенку ударили по голове ее же фотоаппаратом, выбили зуб злопыхателю из американского журнала. Потом пошли поливальные машины. Ледяными струями разделили толпу на части, и дезорганизованные любители современного искусства побежали вниз, по Профсоюзной улице, в сторону метро.

Художница Надя Эльская залезла на груды труб и кричала: «Выставка продолжается!» до того момента, пока ее не стащили. Задержали Рабина-старшего, его сына, Евгения Рухина, фотографа Владимира Сычева, Александра Глезера и А.Тяпушкина, художника-авангардиста, который тогда был зрителем, участника войны, героя Советского Союза. Этим же вечером буквально все западные радиостанции, вещающие на Советский Союз, надрываясь от волнения, сообщили о бульдозерном погроме. На протяжении многих недель вся западная пресса писала об этом событии. Безвестные художники, которые шли на беляевский пустырь показать свои работы, проснулись на следующее утро известными. Часть из них, правда, проснулась в КПЗ, где их продержали сутки. Потом был суд, осудивший их на 15 суток, замененные на штраф.

Витало множество слухов по Москве. Говорили, что власти Черемушкинского района превысили полномочия. Что Рабин и компания по заданию сионистских центров пытаются осложнить советско-американские отношения. Что ГБ специально подставило милицию, т.к. Щелоков (министр МВД) взял слишком большую власть.

Факт остается фактом: 15 сентября 1974 года в Советском Союзе состоялась первая, ставшая широко известной в мире выставка неофициального искусства. Отношение властей к художникам-модернистам хорошо выразил лейтенант милиции в КПЗ, куда привезли задержанных: „Стрелять вас надо, только патронов жалко“.

Петр Леонидов

Мародеры



В 20-ю годовщину знаменитой бульдозерной выставки в Москве были проведены как бы две альтернативные тусовки. Одна тусовка, собранная известным искусствоведом Александром Глезером, состоялась на Профсоюзной улице у дома 100, где мазали краской бульдозер. Присутствовали художники, участники бульдозерной выставки: Михаил Федоров-Рошаль, Сергей Бордачев и искусствовед Александр Глезер. Не были: присутствующие в Москве Комар и Меламид, которые отделались письмом, не был Тупицын, сославшись на занятость, не был искусствовед Леонид Талочкин, который сослался на то, что не хочет находиться рядом с Глезером. Не приехали живущие во Франции Оскар Рабин и Лидия Мастеркова.

Министерство Культуры устроило обед в честь участников бульдозерной выставки. Обед проходил в ресторане „У бабушки“. На обеде были: министр культуры Е.Сидоров, начальник Управления изобразительного искусства Л.Бажанов, еще примерно с десятка министерских чиновников, а также А.Глезер, М.Федоров-Рошаль, С.Бордачев и поэт Генрих Сапгир.

В дни торжеств в различных телевизионных программах начальники авангардистов рассказывали о том, как они организовывали бульдозерную выставку, а также выставки в Измайлово и „Пчеловодстве“. В бывшем Горкоме графиков была устроена новая „бульдозерная“ выставка. Из художников, участвовавших в той, знаменитой выставке, здесь были представлены Оскар Рабин и Лидия Мастеркова.

Можно смело сказать, что сегодня то, чего добивались художники — участники бульдозерной выставки, расчищено, растащено и мародерами используется для своего личного обогащения.

Сентябрь 1994

Из Москвы по телефону

Дон-Кихоты 20 лет спустя

или

Стоит ли возводить памятник мельницам?



Наш парижский автор Кира Сапгир беседовала с Оскаром Рабиным и Лидией Мастерковой о том, что было 20 лет назад, стоило ли «идти на баррикады», учитывая, во что сегодня превратилось постсоветское модернистское искусство.

— Мне не очень нравится сам термин — бульдозерная выставка, — говорит художник Оскар Рабин. — Это, как если бы, вспоминая о романе Сервантеса, в первую очередь говорить не о Дон Кихоте, а о мельницах. Для сервантесовского героя несправедливость олицетворялась мельницами — весьма невинными и полезными сооружениями. И на художников власть ополчилась, приняв обличье неких весьма полезных машин. Но хотя мельницы и бульдозеры стали символом тупой силы, с которой сражается человек, желающий свободы, — не в мельницах дело и не в бульдозерах...

Дон Кихот был готов умереть за идеал, сражаясь с великаном — носителем зла. А сейчас на московских бульварах идет продажа картин, за которую никого не притесняют. И это — все равно как памятник не Дон Кихоту, а мельнице...

Нам нужен был воздух для дыхания. Но мы не боролись за то, чтобы оставаться отверженными — как не боролся Ван Гог за право быть непризнанным и застрелиться. Как и в России староверы крестились двумя перстами не для того, чтобы их заживо сжигали в скитах.

..И сейчас, когда у меня спрашивают — пошел бы я опять на тот пустырь? Я отвечаю — да, пошел бы. Если надо было бы — и сейчас пошел бы. Да вот, не надо...

Мы были за справедливость в искусстве, мы верили в идеал. Но думали, что он за горами, за долами, в западных странах, и что туда надо

ехать за ним. А то, что идеала и тут не оказалось — не наша вина. И то, что вообще справедливости в принципе быть не может — это другой разговор.

— ...Наш приход на тот пустырь не был выступлением оппозиции — ведь нас к тому времени не преследовали,— говорит художница Лидия Мастеркова. — Мы просто пошли туда без разрешения. Само событие, которое сейчас так празднуют, носило не очень-то радостный характер. Накануне мы собрались в двух местах: у Оскара и у Тупицыных — Вити и Риты. От Оскара ехал его сын Саша, Рухин, Глезер. А от Риты и Вити — я, Надя Эльская, Володя Немухин, обвешанные мольбертами, картинами — и тут-то началась вся эта история...

Отчего я не поехала в Москву? В общем, не решилась. Я живу далеко в провинции, собраться в дорогу мне трудно. Если бы Оскар поехал, я бы поехала тоже... Но мне тогда неминуемо пришлось бы выступать, рассказывать, как все происходило... И мои взгляды, настроения могли не совпасть с существующими там сейчас. Я ведь всегда была — и сейчас такая же — человек горячий, я не могу оставаться равнодушной ни к кому, ни к чему!

... Я до сих пор вспоминаю Измайлово — солнечный великолепный день — это было нечто невероятное! Конечно, ощущение опасности оставалось — но обе стороны соблюдали договор. Никаких провокаций не было... Но до того, когда к Оскару пришли из горкома художников говорить насчет этой выставки в Измайлове — я ушла на кухню — боялась, что не выдержу. Мне было бы трудно сдержаться...

А сейчас у меня, когда я услышала о торжествах в Москве, возникло какое-то двойственное чувство. Хотя, конечно, у устроителей — наилучшие намерения, в этом я уверена. Но просто то, о чем сейчас столько говорят, — об этом тогда не думалось.

... Мне было легко пойти туда. Мы были очень разными и как люди, и как художники — но Оскар, Рухин были мои друзья. У нас было ощущение братства — вне течений. Мы не были группой. Наше искусство было разным. Наша связь — и творческая в том числе — была и остается гораздо сложнее. Нас связывало нечто, не зависящее от нашей воли, мы составляем нечто вроде грибницы... Не обязательно общаться — связь идет помимо, просто каждый должен знать, что другой существует, на своем месте. Мы были навсегда, накрепко сцеплены — художники, поэты. И связь остается — что бы ни случилось со всеми нами.

А сейчас, окажись я там, — все было бы странно, непонятно — кругом чужие уже лица, люди с другими взглядами не свободу, на творчество. Я не знаю, в каком состоянии там искусство...

Да и вообще — мы здесь, а они — там. И кто там — я уже не знаю... Разумеется, среди них должны быть близкие по духу — но как в суете их разглядишь?

Полагаю, что в день, посвященный Андрею Дмитриевичу Сахарову, лучше говорить не столько о нем, сколько о нашей жизни без него, но которая может измеряться лишь нравственным и личным подвигом таких людей, как он, прошедших ради нас свой крестный путь на Голгофу весь до последнего шажка. Этот путь к свету, к небу, к Богу проходил через погружение в открытый им же термоядерный ад. Но тем выше, чище и ярост-

**Выступление
Анатolia
Приставкина
на конференции,
посвященной
73 годовщине
со дня рождения
А.Д.Сахарова.**

*Москва,
21 мая 1994 г.*

О СМЕРТНОЙ

нее были необыкновенная сила любви к людям, сострадание и жалость ко всем угнетенным и униженным, к самым закоренелым преступникам, приговоренным к смертной казни.

„Я отвергаю идею о том, что смертная казнь оказывает сколько-нибудь существенное и сдерживающее воздействие на потенциальных преступников. Я убежден, что истиной является противоположное, дикость порождает только дикость“. Это слова Сахарова.

Достаточно добавить, что эти слова произнес внук того самого Сахарова Ивана Николаевича, выборщика во вторую Государственную Думу, который был составителем сборника еще в начале века. Сборник так и назывался „Против смертной казни“.

Полагаю, что нынешняя Дума такой закон не допустила бы и до обсуждения. Другие, как говорят, нравы и страна, пережившая кровавый большевизм, помыслить пока не может, что она как-то проживет без расстрелов. Хотя поперек общественного и общего настроения для урока внести бы предложение о моратории на казнь в эту Думу. Кого-нибудь бы и прошибло, а не прошибет — может, подвигнет на размышления, на сомнения, на большее я бы и не рассчитывал.

Вот пока результат: с 1962 по 1990 год казнено 21 тысяча человек. Это 750 казней в год. Тогда как с 1826 по 1906 год, то есть при проклятом царизме, почти за сто лет казнено только 170 человек. То есть два человека в год! И хоть было сказано, цитирую:

„Что за государство, которое не знает лучшего средства для защиты, чем палач, и которое провозглашает собственную жестокость общим законом?“ Как думаете, кто сказал? Карл Маркс.

Вот если бы большевики следовали своему учителю! Да Бог с ним, с государством, я возвращаю вас к словам Сахарова, где заблуждения государства приравнены ко всем другим людям и как бы объединены с ним в

КАЗНИ

единую цель — казнить людей. Поверьте, самое тяжкое в тех делах, которые нам приходилось читать на комиссии по помилованию, особенно в делах смертников, вовсе не их преступления (хотя они и ужасны, не дают спать по ночам), а письма трудящихся, организованные по старому образцу, и даже письма неорганизованные и очень искренние, обозначенные иногда невинной детской рукой, но также требующие неперменной казни. Недавно целая школа (сто с чем-то подписей) прислала письмо с просьбой немедленно убить, расстрелять одного из кровавых преступников, как они пишут. Ни тени сомнения не закралось в детские души об их праве решать при помощи убийства чью-то судьбу. Что школь-

ники? Сами учителя пишут так, цитирую: „Несмотря на то, что сейчас и принято взывать к милосердию, мы требуем справедливого возмездия, то есть казни“. Возмездие — это у нас обязательно казнь. Обратите внимание, слово „милосердие“ ими как бы заведомо осуждено. И далее они пишут: „Мы несем ответственность за нравственность человека. А что сказать детям по поводу „милосердия“ к убийце, которому дают лишь пятнадцать лет?“ Этого им очень мало.

А вот еще одно письмо. Пишет простой рабочий. „Вам надо претворять в жизнь не личные амбиции, а чаяния народа. А чаяния народа (обратите внимание, слова из цэковских бывших газет) таковы, что все сто процентов преступников должны быть расстреляны, тогда у этих вампиров отпала бы охота убивать наших людей“. Спрашивается, кто же убивает наших людей, кроме наших же людей? Дальше он пишет: „А пока надо очищать страну от жестокости только жестокостью. Я был эком и знаю психологию убийц и грабителей. Вышка — это девяносто процентов успеха борьбы с нечистью, а ваши реплики по поводу пожизненного заключения — только убытки народу в стране“. Вы знаете, что у нас теперь есть пожизненное заключение, и вот вам критика этого нововведения.

Казни, конечно, — это не

убытки. Цена жизни — это цена пули, как многие считают. Хотя американцы посчитали, чтобы казнить человека, нужно полтора миллиона, а содержать его пожизненно в тюрьме — только миллион долларов. Но мы не подсчитываем, у нас — цена пули. Кстати, он заканчивает так: „Я буду голосовать за Жириновского, если он предложит казнь“. И таких писем много, очень много. Я полагаю, что кто-то из них вполне пойдет за Жириновским, который тоже предлагает стрелять в преступников без суда и следствия.

Апофеозом же народного самовыражения может послужить такое маленькое обращение к нам: „Обращаюсь к вам с просьбой. Находясь в здравом уме и ясной памяти, предлагаю себя в качестве исполнителя смертной казни. Поверьте, я не маньяк и очень люблю детей, у меня самого их пятеро. И ради них я готов исполнять эту необходимую работу“. И далее адрес для компетентных органов, если он понадобится в качестве палача. Между тем, даже палачи на Нюрнбергском процессе, который был справедливым процессом, скрывали свои имена и стыдились их. А вот мы не стыдимся и не прячемся, а просимся в палачи. Ну что ж, ради детей, ради их счастливого будущего именно такие исполнители в недавние сталинские времена делали необходимую работу, то есть стреляли в ни в чем неповинных

граждан, и сегодня они на это готовы.

Извращенное народное сознание видит причины своих бед в тех, кто смеет призывать к милосердию. Так не странно же, что Бог поразил эту страну безумием и равнодушием к самим себе. Читая на комиссии многочисленные уголовные дела, так называемую „бытовуху“, поражаешься изощренности, бессмысленности бесконечных убийств не закоренелыми уголовниками, не рецидивистами, а людьми самыми обыкновенными, теми же самыми рабочими, крестьянами, которые пишут эти письма.

Вот какая получается картина, если взять статистику. Опросы граждан в Санкт-Петербурге и в других городах России свидетельствуют о том, что подавляющее большинство (95–100 % опрошенных), по их собственному признанию, в течение жизни совершали уголовно наказуемые деяния, то есть преступления. Сто процентов населения! Это пишут социологи Академии наук Ильинский и Афанасьев. Кто же в такой криминальной стране должен просвещать, помогать людям осознавать пагубную жестокость, ту самую дикость, которая порождает дикость? Так, следовательно из Иркутска по фамилии Китаев, кроме чувства удовлетворения, ничего не испытывает, послав на смерть сорок человек. Цитирую: „Никаких кошмаров не снится. Я сплю спокойно“. Вот это и пугает, что он

спит спокойно. Нормальный бы человек спокойно спать не мог, даже прочитав подобное. Но он в своих рассуждениях продолжает так: „Мне, как стороннику жестких мер, совсем не кажется, что расстрел десяти-пятнадцати тысяч подонков повредит обществу“. Это признание недавно на полной полосе напечатала популярнейшая центральная газета. И вдруг начинаешь думать: если не Сахаров, не Лихачев становятся глашатаями нравственности, а следователи и добровольные палачи, то чего же удивляться, что дикость такая породила другую дикость. И нет этому конца. Хотя вот вопрос: люди страдают от засилья организованных банд, от мафиозных структур, от наемных убийц. Выстрелы не смолкают на улицах Москвы. А казним мы все тех же „бытовушников“.

Ни одного мафиозника, ни одного „крестного отца“ к нам на Комиссию не попало. Подчеркиваю, ни одного за два года! Таким образом, мы расстреливаем людей самого низшего, не защищенного социального класса, который мы сполна, развратили за 70 лет и довели до скотского состояния, не способных защищать себя юридически. Мы внушаем испуганному обывателю, что борьба с преступностью ведется, вот только стрелять надо побольше и тогда будет хорошо. Но эта ложь опровергается новыми преступлениями, новыми разборками и заложниками, и этому нет конца.

Тут я хочу процитировать

Пушкина, „Бориса Годунова“. Борис Годунов своему сыну, вступающему на престол, дает советы: „Я нынче должен был восстановить опалы, казни. Можешь их отменить. Тебя благословят. Со временем и понемножку снова затягивай державные бразды“. Неужели к этому придем? Это ведь прямой путь в ГУЛАГ, который хоть и не весь, но еще жив в современных лагерях и даже в брошенных. Там жизнь теплится, и проволока цела, и тюремщики готовы хоть сейчас снова преступить к работе, как и тот доморощенный наш палач. Так во что же верить? Как жить?

Прежде говаривали: „Не стоит село без праведников“. А Русь не стоит без Сахарова, без Солженицына, без Ростроповича, без Лихачева и других. Пусть их немного и пусть они замордованы прежней системой, опорочены, оклеветаны, втоптаны в грязь, выкинуты за пределы Родины, но они тут, с нами, и оттого не все потеряно. И еще возможно верить, что мы не конченный народ, что мы возродимся не только хлебом и углем, но и душой, главным образом его, которая нынче деформирована так, что глуха и слепа и погружена во мрак, но еще жива.

Пока идут дебаты о смертной казни, статистика сообщает устрашающие факты.

В Российской Федерации в 1992 году зарегистрировано 2 млн. 600 тысяч преступлений. В 1993 году — более 3-х миллионов. В 1991 году было совершено 16.200 убийств. В 1992 — уже 23 тысячи, а в прошлом году — 29 тысяч. Причем, независимые исследователи считают, что латентная (скрытая) преступность в 8-10 раз выше официальной.

Слабым утешением является то, что именно в этой сфере человеческих отношений (убийства) мы обогнали, наконец, Америку. Там в 1993 году совершено всего лишь 24.500 убийств. США, согласно справочным данным, является одной из самых „опасных“ для жизни стран. На 100 тысяч живых жителей приходится 10 убитых. Теперь же у нас, на той же статистике — чуть меньше 20 убитых на 100.000. Нынешние тюремно-лагерные университеты прошли в России от 10 до 12 миллионов человек, не считая тех, кто сейчас находится за колючей проволокой. Мы давно попали в заколдованный круг. Чем больше сажают для „исправления“, тем больше выходит законченных преступников.

Стоит ли удивляться, что профессиональная армия преступников постоянно пополняется молодыми рекрутами — „бойцами“, „мальчиками-шкафами“? Не говорю уже о том, что насквозь кор-

рупированная пенитенциарная система плодит своих преступников в погонах.

Вот всего лишь два свидетельства о положении дел в российских тюрьмах.

Ренат Джемилев, один из лидеров крымских татар, рассказывает, как он увидел в 1981 году камеры смертников. (Цитируется по книге: „Тюремный мир глазами политзаключенных“, изд-во Общественного центра „Содействие“, Москва 1993 г.)

„В Красноярской тюрьме меня посадили в спецкоридор, где размещены камеры смертников. Окошко есть, но на нем нет ни стекла, ничего нету, забито сетками-решетками, ни день, ни ночь во дворе не определишь. А холод оттуда такой, что слой льда толщиной в два-три пальца, нары из железного листа, я прилипал буквально к этому железу. Если руку прислоняешь к этому железу, рука прилипала. Январь был. Холодина. В общем, примерно 14 суток я там пробыл — ни спать, ничего, встанешь, бегаешь, греешься...“

А вот свидетельство о беспределе в Елецкой тюрьме Липецкой области. (Стр.252, там же)

Апрель 1992 года.

„Преступление совершено в камере, где заключенные занимались „общественно-полезным трудом“ — делали гирлянды для стеклянных светильников. Один из них — „новичок“, недавно прибывший в тюрьму Алексей Связев, едва

прошедший курс обучения, в новой для себя работе за всеми не поспевал. В день убийства бригадир, осужденный Давлетшин, заставил всех сокамерников работать „на скорость“, чтобы окончательно убедиться в том, кто старается, а кто „сачкует“. Это означало, что на нитку определенной длины нужно было за какой-то промежуток времени нанизать нечто вроде бусинок — такая у них работа. Но у Связева не получалось. Тогда „бугор“ после очередной неудачи новичка принялся методично его избивать. Потом, дав Связеву шанс „исправиться“, вновь отвел его в угол и стал наносить удары.

Истязание продолжалось в течение почти двух часов. Давлетшин, владеющий искусством рукопашного боя, наносил удары вполне профессионально — пальцами в печень, кулаками и ногами в грудь, по почкам, в пах. То же заставлял делать и сокамерников, но когда увидел, что те бьют Связева „без души“, надел кожаные сапоги и вновь принялся „за воспитание“. Избивал, уже умирающего, будучи, как говорит, уверенным, что тот продолжал „придуряться“. Оставил его лишь тогда, когда понял, что со Связевым что-то неладно. Потом были вызваны представители администрации, врачи. Но было поздно. Молодой заключенный от побоев скончался...

Можно ли всерьез полагать, что к убийству привела любовь

„бугра“ Давлетшина к общественно-полезному Трудю на благо родной тюрьмы и врожденная антипатия к бездельникам?

Вот что заявил сам подсудимый: „Я бил людей только из желания жить и самому не оказаться на их месте“.

Животный страх за свою жизнь и здоровье оказался в стенах тюрьмы прекрасным воспитателем. Судя по показаниям заключенных, одна из задач администрации — заставить заключенных относиться друг к другу с ненавистью голодных крыс, выживать, цепляясь в горло другому.

Сверхзадача здесь одна — добиться полного подавления личности осужденного, постоянного унижения и чувства неустойчивого равновесия у каждого из эзков. На это нацелен весь внутренний уклад елецкой тюрьмы и его главный принцип — постоянная угроза жизни, здоровью заключенных...

Остается добавить, что сегодня в лагерях и тюрьмах РФ содержится около полумиллиона человек. Уголовная статистика (как и всякая другая) — сухая наука. Она не учит, как надо лечить страну, она только показывает, что в стране происходит. Пока не найдено лекарство от наших недугов. На что нам уповать? На милосердие? На новый „антибандитский“ указ Ельцина? Кто даст ответ?

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Единственная русская еженедельная газета в Западной Европе.

ПОДПИСКА НА «РУССКУЮ МЫСЛЬ»

(В указанные цены входят
почтовые расходы)

Обычной почтой:

	6 мес.	1 год
Франция.	250 F	400 F
Другие страны:	400 F (73 \$)	600 F (110 \$)

Авипочтой:

Европа и Северная Африка.	450 F (82 \$)	680 F (124 \$)
Израиль, Иран:	518 F (91 \$)	720 F (131 \$)
Америка, Южная Африка:	550 F (100 \$)	790 F (144 \$)
Австралия, Япония:	650 F (119 \$)	860 F (157 \$)

Желаю оформить подписку

на 1 год

на 6 месяцев

имя и фамилия

адрес

..... Страна.....

Оплату произвожу:

- приложенным чеком
- почтовым переводом
- через банк

Наш почтовый счет: ССР 5883 44 К PARIS

Платеж и заполненный талон просим направлять на адрес редакции в отдел подписки. При продлении подписки подписной талон не заполнять. Написать фамилию и приложить один экземпляр фактуры или номер абонемента.

Адрес редакции:

La Pensée Russe, 217, rue de Faubourg St. Honoré, 75008 Paris.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Газета издается в Париже с 19 апреля 1947 года.

Если вы хотите
подписать на «Русскую мысль»
своих друзей и родственников
в России и других странах СНГ
предлагаем вам льготные условия подписки:
200 фр. фр. (45 ам. дол.) в год.
Обращайтесь в отдел подписки «Русской мысли».
Прилагаем специальный подписной талон.

Желаю оформить подписку для

Имя и фамилия

Адрес

..... Страна СНГ

Оплачиваю

Имя и фамилия

Мой адрес

.....

..... Страна

Оплату произвожу:

- приложенным чеком
- почтовым переводом
- через банк

Наш почтовый счет: ССР 5883 44 К PARIS

Платеж и заполненный талон просим направлять на адрес
редакции в отдел подписки.

Адрес редакции:

La Pensée Russe, 217, rue de Faubourg St. Honoré, 75008 Paris.

Alles für Computer und Menschen
KOSTENGÜNSTIG — LEISTUNGSSTARK — WERTBESTÄNDIG

ACM COMPUTER

**КОМПЬЮТЕРНОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БЮРО**

ПРЕДЛАГАЕМ:

- принтеры с русским шрифтом;**
- программное обеспечение на русском языке;**
- факсы, компьютерные сети, модемы;**
- копировальную технику;**
- многое другое...**

**Оказываем помощь при подключении и настройке.
При оптовых закупках предоставляем скидку.**

**ACM Computer Handels GmbH
Augsburgerstraße 27,
10789 Berlin
Verkauf: Fr. Bul / Hr. Galius**

**fon: (030) 211 27 40
fax: (030) 211 90 11**

ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ РУССКОЙ КНИГИ!!!

В Потсдаме, на Аллеештрассе 10, для Вас открыт магазин

„Русские книги“

Более пяти тысяч наименований книг.
Новинки поступают практически еженедельно.

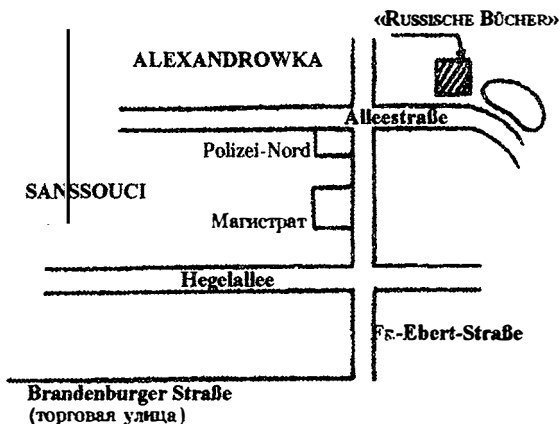
Цены равны московским
(В среднем не выше 9 DM),
то есть в 2-3 раза дешевле, чем в любом другом
магазине русской книги в Германии.

Работает букинистический отдел и отдел заказов.
Всегда свежие газеты.

Продаются видеокассеты —
практически со всеми русскими фильмами,
а также аудиокассеты русской классической и эстрадной музыки.

Звоните нам: 0172 / 315 31 58

Найти нас легко:



Наш почтовый адрес: **Russische Bücher**
Alleestraße 10, 14469 Potsdam

Книга — почтой:

«ГЕЛИКОН»

*Русские книги, видео- и аудиокассеты
Подписка на российские газеты
и журналы*

Дорогие друзья!

Русско-немецкая фирма «Геликон» предлагает Вам свои услуги.

Мы располагаем неограниченными возможностями по продаже в странах Запада русских книг, видео- и аудиокассет. Можем достать для Вас практически любую видеокассету или книгу, изданную в России за последние годы (срок выполнения индивидуального заказа 1—3 месяца, цена — договорная).

Принимаем подписку на любые еженедельные и ежемесячные издания, выходящие в России и обеспечиваем быструю их доставку с любого номера. Таких быстрых и квалифицированных услуг по столь умеренным ценам никто на Западе никогда не предлагал.

Тот, кто оформляет у нас заказ впервые, получает бесплатно сочинения Агаты Кристи в 5 томах.

Обращайтесь по адресу:

GELIKON

Krokusstr. 18, D-82216 Maisach, Germany

Tel.: 08141 / 90243

Каталог высылаем по первому вашему требованию, бесплатно.

ДРУЗЬЯ!

Только фирма «Геликон» обладает эксклюзивным правом распространять новый альманах «Остров».

В 1995 году он будет продаваться ежеквартально:

цена одного номера — 8.90 DM

Подписка проводится уже сейчас.

Любое Ваше дельное предложение по содержанию и распространению альманаха будет учтено.

Ждем Ваших писем и заявок.

Наши авторы

Андрей Анпилов — московский поэт и прозаик, художник, автор и исполнитель песен на свои стихи.

Светлана Васильева — представительница «новой женской прозы», публикуется в России и за рубежом, живет и работает в Москве.

Леонид Гиршович — профессиональный музыкант, живущий и работающий в Ганновере. Автор нескольких книг, опубликованных в России и Израиле.

Лена Кешман — журналист, живет и работает в Израиле.

Сун Комарова — профессиональный музыкант (классическая певица), филолог, на русском языке публикуется впервые, живет и работает в Берлине.

Леонид Межибовский — петербургский писатель, автор повестей и рассказов, опубликованных в России, живет и работает во Франкфурте-на-Майне.

Вильям Мейланд — искусствовед, живет и работает в Москве.

Гарри Осипов — писатель, поэт, музыкант, живет и работает в Москве и Запорожье, представитель «третьего пути».

Дмитрий Пригов — поэт, художник, концептуалист, один из виднейших представителей «новой волны».

Анатолий Приставкин — известный русский писатель, председатель Комиссии по помилованию при президенте Российской Федерации.

Эдуард Русаков — красноярский писатель, широко печатается в России.

Кира Сапгир — писатель, публицист, журналист, печатается во французской прессе, регулярный автор «Радио Свобода».

Юрий Теплов — военный журналист и писатель, публикуется в России, живет и работает в Москве.

Владимир Филь — живет и работает в Запорожье (Украина), автор «action story», по собственному определению — представитель «третьего пути».

Олег Юрьев — драматург и писатель, его пьесы поставлены в Германии, Франции и других странах, живет и работает во Франкфурте-на-Майне.

Главный редактор:
Вячеслав Сы-оев

Редакционный совет:
Юрий Гинзбург, Сергей Гладких,
Ольга Гура, Эрик Ершун, Евгений Попов,
Дмитрий Сорокин, Лариса Сысоева

Редакторы-составители:
Евгений Попов, Лариса Сысоева

Оформление и макет — Дмитрий Сорокин

В оформлении использована
графика Вячеслава Сысоева

Адрес редакции:
«OSTROV»,
Dimitroffsrasse 4, 10435
Berlin, Germany

Telefon: +49 030 / 442 58 30
+49 030 / 494 99 75

СТРОВ

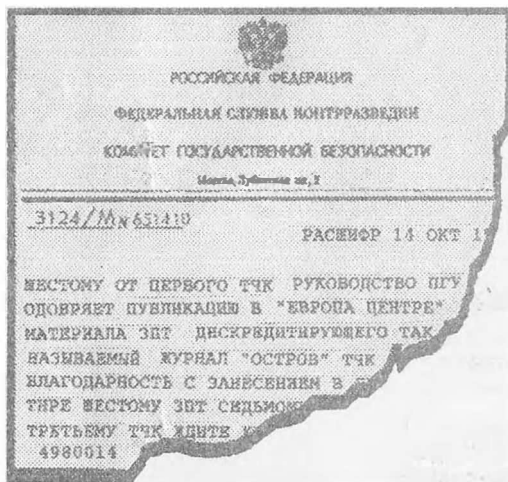
Независимый публицистический
и литературно-художественный альманах

Выходит с июня 1994 года

Редакция не вступает в переписку по поводу присланных материалов.
Рукописи не возвращаются.

Точки зрения редакции и авторов публикуемых материалов совпадают не всегда.

Срочно в номер!



Редакция получила конверт, в котором находилась расшифрованная спецтелеграмма. Не знаем, кому адресована эта телеграмма и какое отношение она имеет к опубликованному в берлинской газете на русском языке пасквилю на наш журнал, но на всякий случай публикуем ее.

«ШЕСТОМУ ОТ ПЕРВОГО ТЧК РУКОВОДСТВО ПГУ ОДОБРЯЕТ ПУБЛИКАЦИЮ В „ЕВРОПА ЦЕНТРЕ“ МАТЕРИАЛА ЗПТ ДИСКРЕДИТИРУЮЩЕГО ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ ЖУРНАЛ „ОСТРОВ“ ТЧК БЛАГОДАРНОСТЬ С ЗАНЕСЕНИЕМ В ЛИЧНОЕ ДЕЛО ТИРЕ ШЕСТОМУ ЗПТ СЕДЬМОМУ И ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ ТЧК ЖДИТЕ КУРЬЕРА С НАЛИЧНЫМИ ТЧК»

Мы с точкой зрения ФСК (бывшего КГБ) не согласны. Считаем, что нам сделали хорошую рекламу. Спасибо ТЧК



ОСТРОВ 2

Литературно-художественный альманах